

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ

ТЫ

ВЗОЙДЕШЬ,

МОЯ ЗАРЯ!

Алексей Новиков

Ты взойдешь, моя заря!

«ФТМ»

1953

Новиков А. Н.

Ты взойдешь, моя заря! / А. Н. Новиков — «ФТМ», 1953

Роман «Ты взойдешь, моя заря!» посвящен зрелым годам, жизни и творчеству великого русского композитора Михаила Глинки.

© Новиков А. Н., 1953

© ФТМ, 1953

Содержание

От автора	5
Часть первая	6
Бедный певец	6
Глава первая	6
Глава вторая	9
Глава третья	13
Глава четвертая	16
Глава пятая	19
Глава шестая	22
Глава седьмая	24
Глава восьмая	26
Глава девятая	29
«Не пропадет ваш скорбный труд...»	33
Глава первая	33
Глава вторая	37
Глава третья	41
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Алексей Никандрович Новиков

Ты взойдешь, моя заря!

От автора

Роман «Ты взойдешь, моя заря!» посвящен зрелым годам, жизни и творчеству великого русского композитора Михаила Глинки.

Книга «Рождение музыканта» того же автора, вышедшая в 1950 году, повествует о детстве и юности М. И. Глинки.

Часть первая

Бедный певец

Глава первая

В Новоспасском готовились к свадьбе.

Выдавая замуж старшую дочь, Иван Николаевич Глинка собирался задать пир на всю губернию, но, видно, не в добрый час сладилась судьба Пелагеи Ивановны.

Еще только начались приготовления к будущему торжеству, еще не успели оповестить о нареченной невесте многочисленную родню, как вдруг последовало распоряжение о всеобщем трауре: волею божьей почил в Таганроге самодержец всероссийский.

Расставшись с излюбленной дорожной коляской, Александр Павлович совершал последнее путешествие в дорожном гробу. Царственный кортеж медленно двигался от Таганрога к Петербургу. Как при жизни, так и после смерти самодержец не давал подданным покоя: для встречи процессии повсеместно сгоняли к дорогам народ.

Однако Смоленщина оставалась в стороне от траурного шествия. Свадебные приготовления в усадьбе Глинок шли своей чередой. Иван Николаевич задумал для семейного события многие сюрпризы: в парадных комнатах решил разбить зимний сад, на Десне перед домом определил быть иллюминации, а на Острове муз приказал соорудить ледяной павильон.

На этот раз, вопреки обыкновению, Иван Николаевич принял во внимание даже музыку. По размаху задуманных увеселений выходило, что одним оркестром шмаковского брата Афанасия Андреевича никак не обойтись.

Потому и решил Иван Николаевич выписать в подмогу лучших музыкантов из Смоленска, а если случится, затребовать их из Москвы.

Но и впрямь не *во-время* затеялась свадьба Пелагеи Ивановны. До Ельни стали доходить тревожные слухи о петербургских декабрьских происшествиях. Рассказывали, будто восстали злодеи против самого царя и будто бы палили по ним из пушек. Слухи были разноречивы и смутны, однако громом прогремели по всему уезду, даром что пришлось дело чуть не в крещенскую стужу.

В помещичьих усадьбах наглухо запирали ворота, спускали цепных псов и выставляли надежных караульщиков, – по новым слухам – и притом достоверным – выходило, что силы бунтовщиков несметны и посланы ими подстрекатели по всем губерниям и уездам.

Но время шло, а в Ельню никакие смутьяны не являлись. Никто господских мужиков не бунтовал. Тогда, отдышавшись, господа дворяне поучили на конюшнях баламутов, замеченных в дерзости и своеволии, и стали осматриваться вокруг себя. Давняя неприязнь к Новоспасскому соседу нашла пищу в новых подозрениях: живет фармазон – ни богу свечка, ни черту кочерга; не знай куда холопов гоняет и сам неведомо где рыщет... Откуда вечер на тройке прискакал?

А Иван Николаевич действительно только что вернулся в Новоспасское и, едва переодевшись с дороги, призвал к себе дочь-невесту и счастливого жениха.

– Что нам со свадьбой делать? Сыграть ее, как должно, – тотчас сочтут за нарушение траура, а нарушение траура непременно истолкуют как сочувствие бунтовщикам. – Иван Николаевич помолчал, потом отнесся к жениху: – Не располагаете ли, Яков Михайлович, отложить до времени?

– Откладывать свадьбу?.. – у Якова Михайловича Соболевского даже голос дрогнул.

– Папенька! – перебила жениха Поля. – Ведь на нашу свадьбу Мишель едет, а надолго ли он может от службы отпроситься?

– Ну, коли вы единственно о Мишеле печетесь, мне ли тогда перечить?

Когда же заговорил Иван Николаевич о том, что придется отказаться на свадьбе от всякой пышности и многолюдства, тогда жених и невеста не только не огорчились, но в один голос просили батюшку внять их просьбе и ничем не нарушать семейной тишины.

– До пиров ли сейчас, – горячо сказал Соболевский, – когда льется столько слез в семействах узников? Вы знаете, батюшка, что следом за Петербургом начался розыск в Москве?

– Скорее бы приехал Мишель! – Поля с надеждой посмотрела на отца. – По-вашему, папенька, когда его ждать?

Иван Николаевич незаметно переглянулся с будущим зятем, но, целуя Полю, ответил ей с уверенностью:

– С часу на час должен быть Мишель. Нет причины ему медлить.

Между тем желанный гость не являлся...

В ночную пору долго светились окна в кабинете Ивана Николаевича. Хозяин по обыкновению быстро расхаживал по комнате и размышлял: с тех пор, как прочел он в списке бунтовщиков о «безумном злодее, без вести пропавшем», Вильгельме Кюхельбекере, участь собственного сына стала для него предметом постоянной тревоги. Что будет, если сохранил Мишель дружескую связь с бывшим наставником? По счастью, не знал новоспасский владетель о том, что именно по этому поводу Михаила Глинку возили на ночной допрос к высшему начальству. Ничего не знал Иван Николаевич и о других знакомцах сына: о штабс-капитане Александре Бестужеве, о Кондратии Рылееве и о тех пансионских товарищах Михаила Глинки, которые оказались среди восставших в грозный день 14 декабря 1825 года.

Иван Николаевич подходил к окну кабинета и прислушивался. Вьюга-оборотень прикидывалась почтовой тройкой и, гикая, неслась по Десне.

Не спалось и Евгении Андреевне. Материнское сердце, напуганное слухами, давно утратило покой.

Долги ночи у зимы, а от тревог стали еще дольше. Не спится в светелке и нареченной невесте. Пелагея Ивановна сидит недвижна и пристально смотрит в зеркало, вопрошая судьбу: почему не едет из Петербурга любимый брат? Но молчит девичье зеркало, непривычное к такому спросу. Да и как ему, зеркальцу, ответ держать, если даже в гадальных книгах нет разгадки петербургских происшествий... Только вьюга, разыгравшись, все протяжнее стонет на реке.

Тогда раскидывает невеста карты, и тотчас ложится масть к масти, а сердце к сердцу, и все дороги поворачиваются к семейному дому.

И вдруг, откуда ни возмись, падает на стол, словно коршун на добычу, пиковый туз! А пиковый туз – кому-нибудь непременно смерть.

– Ой, кому же? – Поля бледнеет и дрожащими руками заново тасует колоду.

К счастью, у зловещей карты есть давняя примета – рубчик на рубашке. Когда перед невестой ложится новый круг, уже не смеет упасть на стол коршун-туз. Все дороги опять поворачиваются к семейному дому, но на сердце ложится какой-то червонный, должно быть денежный интерес. Недовольная таким меркантильным поворотом, опять надолго задумывается Пелагея Ивановна. В светелке воцаряется предутренняя мгла. А январская вьюга знай себе гикает да несется по Десне, будто лихой ямщик, что мчит путника к родному дому да молодецким посвистом задорит усталых коней.

Поля смешала карты и прислушалась – к протяжному посвисту прибавился отчетливый звон колокольчика. Чу! Все ближе и ближе! Кто-то скачет к новоспасскому дому.

Пелагея Ивановна, отбросив карты, сбежала вниз и первая обняла приезжего.

– Мишель! – простонала она, повиснув на нем по детской привычке, и ничего больше не могла сказать.

Михаил Глинка тоже не мог произнести слова. Дожив до двадцати одного года, молодой человек, как и в детстве, не выносил ни дуновения ветра, ни стужи. Под дорожным тулупом и шубой, под всеми одеялами и шарфами он давно превратился в ледяную сосульку.

Весь дом поднялся для встречи дорогого гостя, но Иван Николаевич не дал и короткого часа для общей радости – увел сына в кабинет. Едва здесь заново затопили печку и подали свежий самовар, хозяин закрыл дверь на ключ.

– Не стал бы тревожить тебя после дороги, – объяснил сыну Иван Николаевич, – да ведь сам знаешь, каковы ныне обстоятельства. Скажи мне напрямки, друг мой: точно ли ты благополучен?

– Как видите, батюшка, – Глинка невесело улыбнулся, – мне к выезду из столицы помехи не было, хотя многие столь же неприкосновенные к происшествию, как я, уже пострадали за одно знакомство с несчастными.

– А разве ты со многими из них знался?

– Не буду скрывать от вас, батюшка, и не вижу в том бесчестия себе: среди тех, кого называют злодеями, были люди очень мне знакомые.

– Да на что же рассчитывали безумцы? – Иван Николаевич подбросил дров в пылающую печь и вплотную подошел к креслу, в котором расположился сын. – Поведай ты мне: что замышляли мечтатели и сумасброды, подобные Вильгельму Кюхельбекеру?

– В заговоре сошлись не только мечтатели, – с живостью ответил Глинка. – По собственному наблюдению скажу вам, что там были люди, которые умели сочетать полет мечты со знанием повседневной жизни...

Глинка оборвал речь, потом, внимательно глядя на отца, спросил:

– Приходилось ли вам, батюшка, читать поэмы Кондратия Рыльева?

– Так ведь то стихи, друг мой, – озадачился Иван Николаевич, – но можно ли пиитической мечтой достигнуть перемены в государстве?

– Не стану с вами спорить, – согласился Глинка, – и тем более не стану, что, общаясь с заговорщиками, никогда не подозревал существования заговора и никем не был осведомлен о намерениях, касающихся переустройства государства. *Однакоже* опять не буду скрывать от вас: я был и остаюсь единомышлен с ними во многом...

– Ты? – Иван Николаевич был так испуган этим признанием, что даже оглянулся на запертую дверь. – Да неужто и ты не уберегся?

– Против рабства восстает ныне каждый честный человек. Не отрекись и я от этих мыслей.

Михаил Глинка протянул к огню все еще не согревшиеся руки.

– Что предосудительного, если писатели наши, оказавшиеся в заговоре, будили отечественную мысль, – сказал он, – если звали они к тому, чтобы науки и искусства служили народу, чтобы жила Россия не чужим умом, а своим, русским разумом и собственными природными талантами? Вот в этом, батюшка, я опять единомышлен с заговорщиками и никогда не отступлюсь. Неужто до веку будем покорствовать заезжим и нашим доморощенным чужеземцам, презирающим народ?

И так разгорячился упрямец сын, что стал рассказывать родителю о собственных опытах сочинения музыки в русском духе. Явление химеры-музыки при столь смутных обстоятельствах было совершенно неожиданно для Ивана Николаевича.

– А, музыка! – рассмеялся он с душевным облегчением. – Оставим, однако, искусства тем, друг мой, кто к ним предназначен.

Сын молчал, прикрыв глаза ладонью. Горячность его как будто разом улеглась. Иван Николаевич, отхлебнув пунша, снова вернулся к петербургским происшествиям.

– Если говорить о судьбах отечества, – сказал он, – мне ли не знать, сколь пагубно для дел рабство. Но могут ли исцелить эту вековечную язву младенцы, которые идут на бунт, не взвесив ни сил, ни обстоятельств? Мечтатели и стихотворцы – им ли повернуть кормило государства? Коли героев не имеем, то и в дон-кишотах нужды нет...

– Не дон-кишоты, батюшка, созидали Русь, – снова разгорячился Михаил Глинка. – Вся история наша свидетельствует о героическом. И те, кто стоял в Петербурге у сенатских стен, не против ветряной мельницы сражались. Неужто же в безвременье нашем сызнова не явятся герои?

– Не нам с тобой их искать, – отвечал Иван Николаевич. – Подражать древнему Диогену было бы сейчас бесполезно, а по обстоятельствам нашим и небезопасно. Ты уверен, друг мой, что не тянутся за тобой нити подозрения?

Глинка отвечал уклончиво. Рассказал о всех своих друзьях и знакомых, схваченных властями, и снова вернулся к допросу, которому подвергался из-за знакомства с Кюхельбекером.

– Не поздоровится теперь и сутокским Глинкам по родству с беглым государственным преступником, – размышлял вслух Иван Николаевич. – А Устинью Карловну Глинку и вовсе затеребят, когда станут спрашивать о местонахождении брата. Далеки мы с ними, слов нет, – продолжал он, – а все же надобно учесть, что уже поминают при следствии фамилию нашу. Смотри, друг мой, остерегись! Сам знаешь, береженого и бог бережет.

Иван Николаевич особо упирал на страхи соседей и добровольный сыск, которым встречают в уезде каждого приезжего.

Зимнее утро было в разгаре. Только солнце не показывалось из-за низких туч. Даже наверху, в бывших детских Михаила Глинки, было сумрачно. И старое фортепиано, стоявшее с наглухо закрытой крышкой, казалось, сурово и недоброжелательно встретило молодого человека, явившегося в Новоспасское с места смутных петербургских происшествий.

Глава вторая

– Когда же прикажете, Михаил Иванович, нам явиться?

– Повременим, Илья, – отвечает Глинка первому скрипачу дядюшкиного оркестра и продолжает расспросы о музыкантах.

– Да что им делается, Михаил Иванович!

– А Тишка-кларнет, слышал я, грудью болел, теперь как?

Илья неохотно отвечает на вопросы, недостойные барского внимания, потом снова вопрошает, почти с отчаянием:

– Да какие же, Михаил Иванович, ваши распоряжения касательно оркестра будут?

– Сам в Шмаково приеду, когда понадобится, – решительно ответил Глинка, да так и отпустил озадаченного Илью.

Никогда не бывало, чтобы, приехав домой, тотчас не потребовал молодой человек дворовых музыкантов шмаковского дядюшки Афанасия Андреевича и не стал бы разучивать с ними новую пьесу. Но теперь Глинка почти не выходил из своих комнат и, *повидимому*, пребывал в бездействии. Даже уединение, обычно столь благотворное для работы, на этот раз не побуждало его к музыкальным опытам. Память постоянно возвращалась к декабрьским дням.

Сочинитель пробовал было вернуться мыслью к альтовой сонате, начатой в Петербурге, но странное дело – в величественные звуки аллегро врывался визг картечи; когда же обращался он к вешней теме, избранной для русского рондо, эта светлая песенная тема казалась теперь такой же далекой, как собственное безоблачное детство. Оцепенение, начавшееся в Петербурге, не проходило.

А по всему дому шли как ни в чем не бывало предсвадебные хлопоты. Правда, невеста вместе с Евгенией Андреевной отправилась за последними покупками в Смоленск, но швеи,

кружевницы и золотошвейки работали повсюду, даже в верхних детских. И у девочек затеялись новые игры. Женихи толпами сватались к куклам. Куклы сидели чинно и, как благовоспитанные девицы, притворялись равнодушными. Зато Машенька, Лиза и Людмила наперебой вели разговоры со свахой, которую изображала Наташа. Как и младшие сестры, она отдавалась игре с истинным вдохновением.

– Только вы-то, матушка барыня Марья Ивановна, не скупитесь, – выпевала сваха и, расправив складки ковровой шали, язвительно поджимала губы. – Ох, и скупеньки вы, благодетельница, всего две шубы за невестой даετε да салоп сам-один. Где такое видано? С таким приданым и жениху обида, и свадьбу засмеют!

Машенька торговалась и крепилась. А краснощекая Наташа все больше и больше увлеклась.

– У Солдатенковых, – сыпала она мелким горохом, – намедни три салопы за девицей дали, а жених-то против моего, прямо сказать, квач! – Наташа форсисто расправляла плечи и доверительно понижала голос. – И непьющий мой-то, с Покрова зарок дал... Меньше двух салопов и смотреть не станет...

Михаил Глинка, шагая по коридору, долго прислушивался к этим монологам, потом заглянул в детскую.

– А вы, Наталья Ивановна, меня посватайте, – сказал он, едва сдерживая смех, – возьму невесту и вовсе без салопов.

Девочки сорвались с мест и, визжа от восторга, бросились навстречу брату. Только Наташа не отступила перед неожиданностью.

– И рада бы, Михаил Иванович, – снова пела она, с сомнением покачивая головой, – да как же вас благородным невестам сватать, коли вы на селе на посиделках пропадаете? Какая же, извините, благородная девица за вас пойдет? Мерси боку...

Но тут ковровая шаль слетела с плеч, и Наташа залилась смехом.

– К вечеру опять, поди, на посиделки отправитесь? – Наташа лукаво подмигнула. – Нам, свахам, все известно.

– А коли так, то вместе и пойдём, – предложил Глинка.

Песни, ютившиеся по курным избам, предстали перед ним в этот приезд совсем с новой стороны. Идя вечером с Наташей на село, Глинка глянул на серебряную тишь парковой аллеи, потом перевел глаза на сестру.

– Вот ты, Наташенька, на песни мастерица, а заметила ли ты, какая пропасть отделяет воображаемый мир, созданный народом в песнях, от мира вещественного, в котором народ живет?

Но вместо ответа Наташа взмахнула руками и куда-то провалилась.

– Да помогите же мне выбраться, братец! – взмолилась она, барахтаясь в сугробе.

Глинка подал ей руку, и пока Наташа топала валяными сапожками, отряхивая снег, сказал ей наставительно:

– А если будешь топтаться на месте и слов моих не поймешь, никогда не станешь истинным артистом.

– Господи, мне в артисты! – испугалась Наташа. – Вы хоть при папеньке этого не скажите, а то достанется нам обоим.

– А ты все-таки послушай, – Глинка взял Наташу под руку, чтобы продолжать путь, – я открою тебе предмет, достойный того, чтобы над ним задуматься... В жизни нашей даже живые человеческие души и те закрепошены, а глянь в песни – весь порядок держится в них на полном раскрепошении голосов. Нету, значит, среди песенных голосов ни господ, ни подначальных.

– Братец, – с опаской перебила Наташа, – неужто и вы тоже бунтовщик?

Глинка недовольно покачал головой.

– Я тебе, глупая, о песнях толкую. В песни ни одно начальство носа не совало, а ты присмотришься да рассуди: складываются в песнях голоса не по чьему-нибудь хотению, а по собственному соизволению. Так?

– Конечно, так, – подтвердила Наташа. – А помните, братец, вы раньше говорили, будто в песнях – правила? А вот и нету их, правил, теперь сами признали.

– Насчет правил вопрос особый, – не согласился Глинка. – А кто этак голоса сладил? Народ!

Наташа схватила Глинку за руку, как будто снова о чем-то догадалась.

– Братец, вы опять о бунтовщиках?

– Эх, дались вам бунтовщики! – с досадой отвечал Глинка. – Да ты-то откуда о них знаешь?

– Яков Михайлович еще до вашего приезда толковал, – призналась Наташа. – И насчет народа тоже... – Девушка посмотрела на брата и, хоть шли они по безлюдной дороге, заговорила шепотом: – Неужели и в песнях наших тоже бунт, братец?

– Признаюсь, – Глинка даже остановился посреди дороги, – только тебе одной могло этакое в голову прийти. Сделай одолжение, заруби себе на носу: в песнях наших вовсе не бунт, а высшее проявление свободы каждого голоса в общем их согласии, сиречь высшая гармония...

Но тут Наташа ахнула:

– Братец, мы никак опоздали!

Они подходили к неказистой избе, стоявшей на отлете от села. Кто-то открыл дверь на улицу, и вместе со слабым отсветом лучины до путников долетели стройные молодые голоса. Закрепощенные люди создавали в своем пении ту самую вольную гармонию, которая всегда была душой артельной русской песни.

Как будто и не имели эти песни никакого отношения к петербургским происшествиям, но разговор, начатый с Наташей, Глинка все чаще и чаще продолжал наедине с собой.

Те сочинители, которые участвовали в восстании, давно говорили о прелести народных песен. Уже призывали они отечественную словесность обратиться к этому чистому роднику мудрости и вдохновения, но еще никто из них не проник в самую суть хорной песни. А ведь именно песенные голоса не меньше, чем слово, являют вольный распорядок, желанный народу.

Еще резче обозначились перед Михаилом Глинкой латаные крыши мужицких изб, еще памятнее стали извечные мужицкие разговоры о мякине. То и дело шушукались на селе о поимке в округе беглых, о продаже людей на свод... Словно отдернул кто-то завесу и зловещее рабство предстало во всей наготе. А Иван Николаевич возьми да и скажи сыну:

– Уже болтают у соседей, друг мой, что ты приехал бунтовать мужиков, а может, и сам скрылся от правительства. Охотников на ябеду у нас не занимать стать, а время, сам знаешь, какое. Остерегись, друг мой!

И, как будто для подтверждения багюшкиных слов, Евгения Андреевна и Поля, вернувшись в Новоспасское, привезли тревожное известие: в Смоленске взят и под строжайшим караулом отправлен в Петербург дальний родственник Ванюша Кашталинский. Новость поразила Глинку: неужто и в Смоленске существовал заговор, а из тихого Ванюши вырос грозный заговорщик?

– Пустое! – решил Иван Николаевич. – Ванюша каждого квартального боялся – ему ли ниспровергать правительство? Я не иначе располагаю: доносители собирают жатву. Им ли теперь зевать?

Выждав, когда Евгения Андреевна ушла к себе, Иван Николаевич продолжал:

– Не прав ли я был, Мишель, взывая к осторожности? Ты говоришь, на селе мужиковы песни слушаешь, а какой-нибудь дальновидный ум ябеду настроит: знаем, мол, какие он там с мужиками песни заводит!

– Но вы же сами изволили говорить, батюшка, что музыкальным занятиям моим никто препятствовать не будет?

– А коли хочешь, опять повторю. – Иван Николаевич посмотрел на сына с недоумением. – Однако мужицкие-то песни тебе на что? В них какая музыка?

Надобны были чрезвычайные обстоятельства, чтобы завел Иван Николаевич разговор о музыке. Впрочем, опять кончился он без результата. У новоспасского хозяина начинались про-рухи в собственных делах. Ожегшись на кожевенном заводе, искал он вкладчиков для ткацкой мануфактуры. Но, по тревожному времени, вкладчики не находились. К тому же требовала немалых денег предстоящая свадьба, а из-за всеобщей сумятицы Иван Николаевич находил их с большим трудом.

Приданое Пелагеи Ивановны уже было отправлено на будущее ее жительство, в село Руссково. Уже назначен был и день свадьбы. Поля доживала в своей светелке последние девичьи дни и была похожа на птицу-пересёлку. Глинка часто засиживался у сестры. Невеста то вся светилась от счастья, то бледнела от тревоги: жених ускакал в Москву и не возвращался.

– Ни в чем не замешан Яков Михайлович, – успокаивал Полю брат, – ништо ему Москва. Считает часы и минуты до встречи с тобой, а на дела времени не хватает. И скучать причины тебе вовсе нет: вы хоть вместе, хоть врозь – все равно неразлучны.

А Поля обняла брата, и вдруг из сияющих ее глаз хлынули слезы.

– Я так счастлива, Мишель, – говорила она, а слезы градом катились по побледневшим щекам, – и я боюсь этого счастья... Я, наверное, умру, Мишель...

– Полно, что ты говоришь! – Глинка совсем растерялся, не зная, как утешить сестру.

– А может быть, так всегда бывает перед свадьбой? – по-детски всхлипывала Поля.

– Ну конечно, перед венцом все девицы непременно плачут.

Но уже пронеслась набежавшая тучка, и Полины глаза снова сияли.

– Как бы я хотела, Мишель, чтобы ты жил с нами в Русскове! Не уезжай, милый, в этот ужасный Петербург!

– Мне вовсе и не хочется туда ехать, даю в том слово.

– Да? – обрадовалась Поля. – Но твоя музыка!.. – снова огорчилась она.

– А помнишь, Поленька, какие неприятности музыка чинила тебе в детстве?

– Еще бы! Я и сейчас с трудом разбираю ноты.

– Тебе в том большого убытка нет, а вот мне ныне достается... – Глинка тяжело вздохнул.

– Недаром ты теперь совсем не играешь, – посочувствовала Поля.

– Что делать? Решительно ничего не могу произвести, – отвечал Глинка и снова отдался воспоминаниям детства: – Помнишь, как у тебя ноты с линейки на линейку прыгали?

– Еще и хуже бывало, – воодушевилась Поля. – Как соберутся все в кучу, ни одной не разберу!

– Ну, у меня они так вести себя не смеют, – Глинка рассмеялся. – Я беспорядка не потерплю. И что ж ты думаешь? Теперь они мне по-иному мстят. Я их по соображению на линейки рассажу и рад: вот, мол, какое чудо сочинил... – Он оборвал речь и закончил с грустью: – А пригляжусь – одни чучела сидят.

– Какой ты странный, Мишель! – Поля коснулась его руки. – Ты никогда так не говорил о музыке.

– А надобно так говорить, если чучел ей не занимать стать. – Казалось, он в эту минуту забыл о сестре, отдавшись мысли, которая не давала ему покоя. Потом он обернулся к Поле и озадачил ее совсем непонятной речью: – Однако не намерен я изобретать чучела для чучел! На то и без меня охотников довольно... Но где они, российские герои?

Глава третья

В тот самый час, когда Михаил Глинка вопрошал сестру о российских героях, к новоспасской усадьбе подъехал семейный возок господ Ушаковых. Это были первые гости, прибывшие на свадьбу из Смоленска.

Пока в нижних комнатах приносились поздравления невесте, в верхних покоях, отведенных молодому хозяину, царила полная тишина.

Укрывшись в своих комнатах, молодой человек выжидал удобной минуты, чтобы незаметно исчезнуть из дому. Если не случится сегодня посиделок в Новоспасском, придется пройти за песнями еще с версту – до Починка. Стоя у стола, Глинка раскрыл первую попавшуюся на глаза книгу. Тут же, на столе, тщательно сохранялись спутники детства: и гербарий, и диковинные камешки, обточенные Десной, и любимейшая из книг – «История о странствиях вообще по всем краям земного круга». Рядом покоятся и детские тетради с выписками из «Странствий», над которыми он когда-то столько потрудился.

Возвращаясь в отчий дом, Глинка всегда оглядывался на эти памятные меты жизни, словно измеряя пройденный путь. Любимые «Странствия», как встарь, приглашали в неведомую даль. А на соседней полке покоился недавний его набросок – вариации на тему песни «Среди долины ровныя». Уже в первой из этих вариаций в лад главному голосу по-своему вторили подголоски. И веяло от них тем полевым раздольем, в котором родилась сама песня. Но недаром пьеса была положена на полку – вариациям все еще не хватало той высшей свободы, с которой сливаются в русской песне голоса.

Размышляя, Глинка постоял у клеток с птицами, которых, как и в детстве, завел во множестве. В смутном видении ему слышались звуки, не похожие на прежние его создания. Может быть, эти звуки стали бы еще явственнее, если бы не спугнул их чей-то нетерпеливый стук. Стук повторился несколько раз.

– Войдите!

– Мишель, – еще с порога начала Поля, – узнаешь ли ты нашу дорогую гостью?

А гостя уже впрорхнула в комнату и, смеясь, но ничего не говоря, протянула ему руки.

– Не узнаешь? Ну, конечно, не узнаешь! – с торжеством повторяла Поля. – Да ведь это Лизанька Ушакова!

Он с трудом узнал девушку, которую не видел с детских лет. Если бы с унылого январского неба вдруг сверкнула ослепительная молния, он не был бы так поражен. Глинка то глядел, опешив, на гостью, то готов был зажмурить глаза. Он любезно усадил Лизаньку и, разговаривая с ней, все еще присматривался: когда и где могла расцвести эта благоуханная лилея?

Озабоченная приемом гостей, Поля даже не заметила растерянности брата.

– Мишель, оставляю Лизаньку на твое попечение, – сказала она и убежала вниз.

Молодые люди сидели на диване и продолжали разговор. Глинка еще явственнее ощутил теперь благоухание Лизаньки, в котором не были повинны ни аглицкие, ни французские парфюмеры. Должно быть, поэтому у него и не кружилась голова.

– Как мы заболтались, однако! – спохватилась девушка и тут же вылила на собеседника ушат холодной воды: – А давно ли вы были ужасным мальчишкой, Мишель! Когда я у вас гостила, вы глядели на меня букой и ни разу со мной не танцевали, только пиликали в оркестре, вот так! – Лизанька состроила мрачную рожицу и смешно ударила по воздуху воображаемым смычком.

Глинка, улыбаясь, следил за взмахами ее руки.

– Признаюсь, – сказал он, – я был в те времена плохим кавалером.

– Кавалером?! – возмутилась Лизанька. – Вы были самым отвратительным созданием на свете!

– А теперь? – Глинка коснулся ее руки. – Теперь, – продолжал он, – я надеюсь заслужить ваше снисхождение и надеюсь тем более, что вовсе не играю в оркестре.

– Еще бы! – сказала девушка и медленно отвела руку. – Пристало ли скрываться в оркестре столь славному сочинителю?

Он даже не понял, о чем она говорит.

– Вы, наверное, с пренебрежением судите о провинциальных девицах? – продолжала Лизанька. – Но знайте, сударь, я готова за них вступить... Уверяю вас, мы умеем ценить изящное.

И она вдруг вполголоса напела:

Не искушай меня без нужды...

– Откуда вы узнали этот романс? – только и нашелся спросить растерявшийся автор.

Не искушай меня без нужды... —

снова запела Лизанька, искушая каждым звуком.

– Но, умоляю вас, скажите мне: как узнали вы этот романс? – снова повторил заинтригованный Глинка.

– Я знаю о вас гораздо больше, чем вы думаете, – ответила Лизанька и, выдав себя, смутилась совсем по-детски.

На минуту воцарилось молчание.

– Я полюбила ваш талант и непременно сама написала бы вам об этом, если бы не случилась наша встреча. – Лизанька покраснела еще больше и доверчиво закончила: – Только, умоляю, не судите меня за признание. Что делать, я не похожа на тех жеманниц, которые стыдятся говорить о чувствах...

Птицы в клетках, чинно расположившись на жердочках, выжидательно молчали. Только некоторые из них перебрасывались ничтожными репликами, как бывает у равнодушных зрителей во время увертюры.

Но в это время в рассказе Лизаньки мелькнул дядюшка Иван Андреевич, и тогда Глинка понял, как дошло петербургское «Разуверение» до смоленского дома Ушаковых. Впрочем, теперь это вовсе не интересовало сочинителя.

Прошел всего час, а может быть и два с появления гостя, но уже было совершенно ясно, что без нее комнаты Михаила Глинки были лишь мрачным логовом. Он особенно остро это ощутил, когда проводил Лизаньку вниз и вернулся после ужина к себе.

В те дни ни песни, ни российские героини не являлись более в верхних комнатах новоспасаемого дома. Одной лилее Лизаньке было предоставлено властвовать здесь.

А гости, с легкой руки господ Ушаковых, съезжались на свадьбу во множестве. Каждый день прибывали новые семейные возки. Из возков, как птицы из гнезда, выпархивали губернские и уездные девы. Вернулся из Москвы счастливый жених.

Весь дом наполнился веселой неразберихой.

Никто не обратил внимания на то, что Михаил Иванович, раньше сидевший сиднем в своих комнатах, стал принимать участие даже в дальних прогулках. Никто не удивлялся, видя его участником всех домашних увеселений.

Только счастливая Поля все чаще делилась наблюдениями с будущим мужем.

– Послушай, – Поля прятала голову на груди у жениха, – а что, если... Ой, как бы я была счастлива за Мишеля и Лизаньку! Ведь это может быть?

– Что, радость моя? – отвечал Яков Михайлович, плохо вслушиваясь в смысл Полиных речей.

– Какой ты непонятливый... – смушалась Поля. – Ведь никто не знает, когда и как приходит любовь... Когда ты читал мне из Вальтер Скотта про Матильду Рокби, ты ведь тоже ни о чем не догадывался?

– Но Мишель не читает Вальтер-Скотта с mademoiselle Ушаковой, – серьезно возражал Яков Михайлович.

– Ой, какой ты у меня глупый! Ну, при чем тут Вальтер Скотт?

А Соболевский, обняв Полю, целует ее в лоб, в глаза, в губы, в зардевшееся ушко. Поля стихает, с трудом привыкая к этому потоку ласк, и только скупым счетом дарит избраннику ответный поцелуй...

В то время, когда в Полиной светелке происходил этот разговор, Глинка брел с Лизанькой по заснеженному Амурову лужку. Озябшая Лизанька тщательно куталась в шубку.

– Что это? – спросила девушка, протянув руку к дощатому футляру, под которым был укрыт на зиму резвокрылый мраморный бог.

– Амур, – отвечал Глинка.

– Любовь! – многозначительно перевела Лизанька.

Она стояла, крепко опираясь на руку кавалера; ее щека коснулась его щеки.

– Мишель, – едва слышно сказала Лизанька, – стали бы вы прятать от людей свою любовь?

– Никогда, – отвечал он, – если бы только она пришла!

– Если бы... – еще тише повторила девушка.

Мраморный бог, укрытый в ржаную солому и грубые доски, ничего не видел и не слышал...

...Накануне свадьбы на одной половине новоспасского дома справлялся мальчишник, на другой – шел запретный для кавалеров девишник. Потом все спуталось, потому что затеялась ночная гоньба на тройках, и дом мигом опустел.

Михаил Глинка не принял участия в этом предприятии, столь сомнительном для молодого человека слабого здоровья. Он слышал, как замерли вдали последние звуки бубенцов, как отошли ко сну почтенные гости и хозяева.

Бледный от волнения, Глинка чего-то ждал. Он прислушивался к каждому шороху и готов был принять биение собственного сердца за чью-то быструю поступь. Потом, решившись, молодой человек вышел в коридор. В полной темноте он осторожно миновал бывшую классную и вошел в ту комнату, в которой произошла когда-то его первая встреча с музыкой. Здесь он остановился подле промерзшего окна. Ни один звук не нарушал таинственного покоя ночи.

– К тебе пришла твоя любовь, – прошелестел чей-то голос.

И Глинка обнял Лизаньку, трепещущую от страха и смущения.

– Ты обещал мне быть благоразумным, – повторяла она, отбиваясь от поцелуев, – ты обещал...

Только ночь, шествуя по дому, была свидетельницей признаний, восторгов и слез. Ни один предостерегающий звук не нарушил тишины, ни один бледный луч луны не упал на изящную головку девушки, склонившуюся на грудь молодого человека. Сладостное их молчание могло бы продолжаться бесконечно, и уже молил влюбленный о том, чтобы остановилось время.

Но Лизанька вдруг откинула голову, потом отвела пышный локон, спустившийся ей на ушко.

– Сумасшедший! – шепнула она, к чему-то прислушиваясь. – Нас застанут...

Дева выскользнула из рук счастливца и, как тень, исчезла.

Глинка приник горячим лбом к промерзшему стеклу.

Издали слышны были бубенцы возвращающихся троек.

Глава четвертая

В самом конце января 1826 года настал долгожданный день. По-вешнему трогательная в своем белом уборе, Пелагея Ивановна Глинка вернулась из церкви венчанной женой Якова Михайловича Соболевского.

Как ни старались хозяева Новоспасского придать семейному торжеству скромный вид, пышны и гостеприимны оказались свадебные столы. Но оркестр так и не грянул на свадьбе Пелагеи Ивановны. И не зря. Подобную вольность, если принять во внимание траур по венценосцу, легко было бы истолковать совсем с неблагоприятной стороны для хозяев дома.

Но разве уймешь государственными соображениями девиц, съехавшихся чуть не со всей губернии! Танцы устроили просто под рояль.

– Пусть себе попляшут, – махнул рукой Иван Николаевич. – Главное, чтобы по-домашнему, в том суть!

Сам хозяин Новоспасского отказался от предположенных сюрпризов. Ни перед домом, ни на Острове муз так и не вспыхнули потешные огни. Всего только и сделал Иван Николаевич, что разбил в доме зимний сад. Правда, и здесь по-своему размахнулся, рассудив, что никак нельзя обнаружить противоправительственных намерений в невинных созданиях тепличной флоры.

В зале пламенели красавицы бегонии, томно клонясь к могучим лаврам. Танцоров набралось столько, что пары постоянно сталкивались и путались.

– *Cavaliers, engagez vos dames!*¹ – хрипел, обливаясь потом, распорядитель.

Неутомимые кавалеры разыскивали свободных дам и храбро прорывали круг, еще больше увеличивая тесноту, неразбериху и всеобщее веселье. Распорядитель бала, мокрый, как рыба, беззвучно открывал рот. За музыкой, топаньем и шарканьем ног его никто не слышал.

Время шло к котильону – танцу самому продолжительному и желанному для влюбленных.

Дядюшка Иван Андреевич одиноко бродил между гостей. Он постоял у карточных столов и прошел в танцевальную залу, но тут окончательно почувствовал себя погибшим. Стиснутого со всех сторон дядюшку увидел Михаил Глинка и усадил его в кресло, над которым высился могучий лавр.

– Признаюсь, маэстро, – растерянно сказал племяннику Иван Андреевич, – престранные ныне нравы. Вот этот молодой человек, – дядюшка опасливо кивнул на распорядителя танцев, – ухватил меня поперек живота да как гаркнет: «*Engagez!*»² Спасибо ты выручил.

Дядюшка все еще подозрительно приглядывался к распорядителю, потом снова отнесся к племяннику:

– Приятное дерево лавр... и вообще лавры... Ты как смотришь, маэстро?

– Ах, дядюшка, дядюшка, – попенял ему Глинка, – уж не для будущих ли моих лавров и распространили вы мое «Разуверение»?

– А что? – нисколько не смутился Иван Андреевич. – «Разуверение» подает мне истинную уверенность в твоих успехах... Слушай, маэстро, – Иван Андреевич заметно ожил, – поедем-ка с утра ко мне. Дарья Корнеевна тебе ватрушек напечет, а ты меня музыкой утетишь. Много ли нового произвел?

Но, прежде чем Глинка успел ответить, в зале вдруг все смолкло – новобрачные собирались покинуть бал. Провожая Пелагею Ивановну в мужний дом, гости снова пили шампанское, по обычаю кричали «горько» и бросали бокалы на пол. Молодые супруги благодарили и

¹ Кавалеры, приглашайте ваших дам! (*франц.*)

² Приглашайте! (*франц.*)

кланялись. Яков Михайлович был весел. На глаза новобрачной набежала непрошенная тучка. Счастливый муж закутал побледневшую Полю в теплую шубку, подал ей руку. Поля все еще медлила...

Карета, умчавшая молодую чету в Руссково, давно скрылась в морозной мгле, а Михаил Глинка, не замечая стужи, стоял у подъезда.

Когда он вернулся в залу, там оживленно танцевали. Как полагается хозяину дома, Глинка по очереди приглашал всех девиц, не пропуская самых робких и неказистых. За ним ревниво следили почтенные гости, сидевшие вдоль стен. Палевые ленты дамских чепцов склонялись к фиолетовым соседкам, а фиолетовые искали сочувствия у пунцовых.

– И где это видано, чтобы до таких лет жить дворянину в холостых?

Дамы негодовали с редким единодушием, но далее обнаруживались оттенки во мнениях:

– Дочку вперед сына выдали!

– Сынок-то, говорят, порченный!

– Даже из собственных девок ни одной, представьте, при себе не держит!

– Батюшки-светы?!

Парадные чепцы еще ближе склонялись друг к другу, а по соседству возникал новый разговор:

– Ну и жених, нечего сказать! Ни чинов, ни доходов от службы не имеет!

Но в том-то и дело, что Михаил Глинка оставался завидным женихом.

А он *попрежнему* не пропускал в танцах ни одной девицы, никому не отдавая предпочтения. Если же кружил Лизаньку Ушакову, то ровно столько, сколько и любую другую, даже перезрелую деву. Лизанька охотно протягивала ему руку в тех фигурах, когда дамы выбирают кавалеров, но то же самое наперегонки делали многие девицы. Нет, никто не мог воспользоваться оплошностью влюбленных!

Всеобщая усталость между тем брала свое. Гости, сраженные Бахусом, один за другим покидали поле битвы. У карточных столов клевали носом самые неутомимые из понтёров. Даже букеты дамских чепцов, столь приятно оживлявшие залу, поблекли и поредели. Среди изысканных туалетов обнаружили какие-то перкалевые капоты, державшиеся до сих пор в тени.

Неумолимый этикет деревенского бала уступал наконец место свободному изъяслению чувств. Глинка снова танцевал с Лизанькой Ушаковой и теперь не в силах был ее отпустить.

– *Merçi, monsieur!*³ – предостерегающе прошептала Лизанька, ожидая, что кавалер тотчас выведет ее из круга. Но кавалер ничего не слышал, и девушка настойчиво повторила: – *Merçi donc, monsieur!*

– Прошу вас, еще тур! – Глинка чуть сильнее придержал ее за талию. – Я не в силах расстаться с вами...

Ленты на дамских чепцах зловеще заколыхались: не слишком ли горячо поглядывает новоспасский жених на эту губернскую модницу?

А молодые люди неслись в танце дальше, и Глинка снова склонился к даме:

– Подарите мне мазурку! Сжальтесь надо мной!

– На нас уже смотрят, – предостерегла Лизанька. Он ощутил ее дыхание совсем близко и услышал ее шепот: – Ты плохо хранишь нашу тайну.

Это милое, чуть слышное «ты», с такой доверчивостью подаренное на людях, привело его в сладостное смятение. Девушка, воспользовавшись этим, легко выскользнула из его рук. Кавалеру ничего более не оставалось, как проводить ее к свободным креслам.

Лизанька пила прохладительное питье. Глинка не отводил глаз от медленных движений ее влажных губ.

³ Благодарю вас, сударь! (*франц.*)

– Опомнитесь! – сказала Лизанька и слегка ударила его веером. – Так ведут себя только очень неопытные влюбленные в плохих романах... И вот вам наказание!

Она встала, чтобы его покинуть. Перед ней в почтительном поклоне склонился распорядитель танцев. Лизанька положила руку на его плечо и умчалась. Глинка, бледнея, следил за счастливой парой и не верил своим глазам: коварная дева безмятежно улыбалась.

Он судорожно схватился за спинку стула.

– Допрыгался, маэстро? – перед Глинкой стоял дядюшка Иван Андреевич и как ни в чем не бывало продолжал разговор, начатый под лавром: – Нет, брат, кто с «Разуверения» начал, тот не должен поддаваться суетным миражам...

В зале затихли последние звуки рояля. Самые неутомимые кавалеры сходили с круга. Самых усердных девиц забирала дремота. И тогда произошло наконец примирение влюбленных. Оно состоялось в померанцевой роще, в которую превратил диванную комнату Иван Николаевич. Там под нежный шелест листьев Глинка услышал голос Лизаньки:

– Я хочу вина... За нашу тайну!

– И за то, чтобы она стала явью! – отвечал Глинка, вперив в Лизаньку испытующий взор. Но она или не поняла, или не придавала значения его словам.

По столовой еще бродили полусонные гости. Кто-то пел, кто-то выкрикивал несвязный тост. Из залы все еще подходили разгоряченные пары. Усадив Лизаньку, Глинка налил полный бокал и, раньше чем отыграло пенистое вино, опустил на одно колено. В мгновение он снял с Лизаньки атласный башмачок, наполнил башмачок искристой влагой и выпил одним дыханием.

Кто-то стал громко бить в ладоши, кто-то кричал: «Фора!» Молодой человек стоял, как проснувшийся от наваждения, и растерянно оглядывался, держа в руке влажный башмачок.

Лизанька убежала из столовой, чуть припадая на разутую ножку, но в дверях оглянулась. В ее взоре были и смущение и растерянность, но в нем не было упрека.

На следующий день Глинка проснулся поздно. Первое, что он увидел, был атласный башмачок, стоявший на столе. Башмачок кокетливо хранил узкую форму ножки, которую еще вчера так крепко обнимал.

Башмачок ничего не ведал в своей невинности, а между тем он уже стал предметом легенд, неблиц и споров, поднявшихся в полусонном доме. Среди девиц, щебетавших за утренним туалетом, особых разногласий, впрочем, не было. Все барышни дружно признали, что мосье Мишель поступил ужасно и что репутация мадемуазель Ушаковой погибла безвозвратно. Если же какая-нибудь дева бросала взор на собственные башмачки, не подвергавшиеся ничьим нападениям, и при этом вздыхала, то грустный вздох следовало, очевидно, отнести к печальной участи погибшей.

Многоопытные родительницы восприняли историю атласного башмачка как страшную опасность, грозящую всем девицам, проводившим ночь в этом ужасном доме и – страшно сказать! – под одной крышей с похитителем невинности! В бичевании порока не принимала участия только одна дама. То была родительница потерпевшей девы. Она склонна была рассматривать историю с башмачком с точки зрения матримониальной: трудно будет отвертеться молодому человеку после такого пассажа!

По всей вероятности, должен был бы разделить эти соображения и родитель Лизаньки. Но грубые мужские умы не очень поворотливы насчет тонких башмачных дел. К тому же ночевал Алексей Андреевич Ушаков в мужских апартаментах, в отдалении от супруги, и потому окончательного мнения приобрести не мог.

В мужских апартаментах необычайную дерзость молодого человека рассматривали в первую очередь со стороны политической. Давно ли произошел в Петербурге бунт? Всем известно, что злодеи, требовавшие освобождения холопов, не остановятся и перед разрушением нравственных основ...

Пока в барских покоях царило разномыслие, в людских каморках историю рассматривали только с одной стороны: если объявится в Новоспасском молодая барыня, каково тогда народу будет – хуже или полегчает?

Но здесь башмачок не мог дать удовлетворительного ответа. Все барышни носят атласные башмачки, а какие из них барыни выйдут – вопрос особый.

Дом постепенно пробуждался, а двери комнат молодого хозяина не открывались. Глинка стоял подле стола, рассматривая изящный башмачок. Атлас был чуть-чуть растянут там, где его касались крохотные пальчики. Последний след ночного происшествия давно испарился из башмачка, а молодой человек все еще пребывал в поэтическом опьянении.

– Едем, маэстро! – Дядюшка Иван Андреевич ворвался к Глинке и, оглядев бесчувственного племянника, привел аргумент, припасенный для решительной атаки: – Каким я Бахом разжился! *Clavecin bien tempéré*⁴! В полном комплекте! Чувствуешь?

– Милый дядюшка, – отвечал племянник, приложив руку к груди, – не сегодня-завтра должна решиться моя участь. И ехать мне никуда иначе, как в Смоленск.

– В Смоленск? – удивился Иван Андреевич. – Во всем городе не встретишь порядочного музыканта... Зачем же тебе в Смоленск?

Глава пятая

– Поразительно, Михаил Иванович! – развел руками Алексей Андреевич Ушаков, когда Глинка появился в его смоленском доме. – Ведь только сегодня говорил я: «Обязательно надо ждать гостей!»

– Не смел и надеяться на столь лестное внимание, достопочтенный Алексей Андреевич...

– Насчет внимания – как сказать, – протянул Алексей Андреевич и глянул на гостя доверительно. – Знаменья мне бывают. Или не верите? Прохор! – вдруг закричал он, оборотясь к передней, и пояснил: – Во время бритья моего и случилось сегодня знамение.

В гостиную, поспешая на господский зов, вбежал молодой лакей.

– Говорил я насчет гостей, Прохор? Когда ты мне левую щеку брил...

– Точно так, сударь, – подтвердил Прохор. – Я вам щечку намылил, а вы в это самое время и изволили сказать.

– То-то, ирод! Пшел вон! – И, отпустив лакея, Алексей Андреевич, довольный, обернулся к Глинке. – Теперь уж не я утверждаю, очевидцы свидетельствуют. Позвольте же обнять вас по естественному влечению.

Несколько озадаченный, Глинка освободился от объятий хозяина. Он раскланялся с тучным гостем, молча сидевшим на диване, и осведомился о хозяйках дома.

– По домашности хлопочут, – отвечал Алексей Андреевич. – Да вы послушайте, какую историю я до вас начал. Случай, право, необыкновенный.

Все уселись.

– Так вот, государи мои, – начал хозяин, – как я имел уже честь объявить, сидел я в совершенном одиночестве. Вдруг, – рассказчик покосился на тучного гостя, – открывается, представьте, дверь...

– Которая, Алексей Андреевич, дверь? – осведомился толстяк.

– Сия дверь, – с некоторой укоризной отвечал Алексей Андреевич и показал на дверь, которая вела из гостиной в переднюю. – Именно сия, видимая вами дверь.

Гость уставился на дверь. Глинка наблюдал с возрастающим удивлением.

– И вообразите вы себе, – продолжал Алексей Андреевич, – открывается дверь, а я сижу и жду: кого это бог послал? – Рассказчик таинственно поднял глаза вверх и закончил: – Жду,

⁴ Хорошо темперированный клавир (*франц.*). Классическое собрание прелюдий и фуг Баха.

а никто не входит. «Лаврушка! – кричу в переднюю. – Кто приехал?» – «Никто, сударь, не бывал», – отвечает мне с порога старый хрыч, и тут только почувствовал я – веет вокруг меня какой-то дух и свершается движение атмосферы... Знамение мне, значит, было, господа...

– Так, так, – подтвердил толстый гость.

– Только к чему мне тогда знамение было, – продолжал Алексей Андреевич, – я и сам постичь не мог. А как в Петербурге бунт случился, тут все и объяснилось...

– Объяснилось?! – взволновался тучный господин.

– Истинно так... Предостережение мне было: не ездите, мол, раб божий Алексей, в богомерзкий, преданный бунту град...

– Да как же вы в эту тайну проникли? Ведь голоса вам никакого не было? – продолжал пытливый гость.

– Не было, – согласился Алексей Андреевич. – Однако и в Петербург, государи вы мои, я тоже не поехал, а после бунта все само собой и раскрылось... Лаврушка! – вдруг гаркнул Алексей Андреевич и тотчас обратился к лакею, едва передвигавшемуся на трясущихся ногах: – Было мне перед бунтом знамение? Отвечай, анафема!

– Обязательно было, – прошамкал старик.

– А теперь судите сами, – торжественно заключил Алексей Андреевич и махнул лакею. – Сгинь, Мафусаил! – Хозяин дома подозрительно смотрел ему вслед. – Тоже, поди, бунту радовался. Знаю я их, подлецов! Насквозь, окаянных, вижу!

В это время в гостиную вошли хозяйки.

– Ты скучал? – спросила Глинка Лизанька, едва они отсели к фортепиано.

– Ужасно!

– Ты скучал целые дни?

– И ночи напролет.

Лизанька опустила глаза, но Глинка понял, что она ничего не забыла и ни в чем не раскаивается.

Не в силах скрыть своего счастья, Глинка робко подал ей ноты. То были его фортепианные вариации на модный итальянский романс.

– О! – сказала Лизанька. – Как это мило!..

Рассматривая ноты, она склонилась к молодому человеку.

– Ты знаешь, как сплетничают в Смоленске? – Девушка отложила ноты. – Говорят, что мой башмачок нашли утром в твоей спальне.

– Он там и до сих пор живет, как твой залог.

– И пусть, – сказала Лизанька, розовея от смущения, – назло всем низким сплетням. Да?..

– В твоей власти положить им решительный конец, – приступил к важному разговору Глинка, но его окликнул хозяин дома:

– Михаил Иванович, пожалуйста-ка сюда! Совсем забыл рассказать вам...

Глинка, едва скрывая досаду, отошел от фортепиано. Алексей Андреевич, проводив гостя, снова сидел на диване, готовясь к повествованию.

– Выехали мы от вас после свадьбы, если изволите помнить, к ночи...

Глинка помнил это очень хорошо. Он покосился на Лизаньку. Она продолжала сидеть у фортепиано, медленно разбирая вариации, и, казалось, была совершенно равнодушна к тому, что происходило в гостиной.

– И не успели мы десяти верст отъехать, – продолжал Алексей Андреевич, – вдруг вижу – скачет рядом с возком какая-то тень. Сначала я так и думал, что тень, а пригляделся – бежит матерый зверь, шерсть на нем дыбом и в глазах огонь.

– А я, Михаил Иванович, ничегошеньки не видела, – заявила хозяйка дома.

– Я и дочку спрашивал, и она долго смотрела, да ничего не увидела, – все более довольный, продолжал Алексей Андреевич.

– Хотите, папенька, опять перекрещусь? – рассеянно откликнулась Лизанька.

– Не надо, – смилостивился Алексей Андреевич. – И кучер ничего не видел, и выездной. Да не угодно ли, мы кучера сюда позовем или выездного кликнем?

– Алексей Андреевич! – возмутилась хозяйка. – Нешто место мужикам в гостиной? Сколько раз ты сам их спрашивал, и мы с Лизанькой знаем: никто твоих чудес не видел.

– Вот то-то и оно! – проникновенно подтвердил Алексей Андреевич. – Никому не дано, а мне дано! Должен вам сказать, Михаил Иванович, что хоть и был тот бегущий зверь отчасти похож на волка, но, может быть, явился мне сам Индрик-зверь?

Лизанька, не вытерпев, громко фыркнула, но отец не обратил на нее внимания.

Разговор был прерван приглашением хозяйки перейти в столовую. Лизанька задержала Глинку в дверях.

– А тебе никаких знамений не было? – лукаво спросила она. – Неужели ни одно мое желание не долетело до той комнаты, где живут твоя птицы и гостит мой башмачок? Ах ты, мой Индрик-зверь!

...Во время ужина подъехал еще один гость, давний друг дома, отставной генерал Апухтин.

– Душевно рад видеть ваше превосходительство! – встретил его Алексей Андреевич. – *Однакоже* удивления достойно: насчет прибытия вашего не было мне никакого оповещения.

– Да я сегодня не к вам, а вот к ней с поклоном, – сказал генерал, умильно глядя на Лизаньку, которую когда-то нашивал на руках. – Замыслил я, стрекоза... как бы это тебе объяснить... музыкальный вечер...

– Вот прелесть! – обрадовалась Лизанька. – Но как же траур, *mon general*⁵?

– А ты не егози, – наставительно отвечал генерал. – Прошу пожаловать ручку, нимфа, и почтительно докладываю: именно в связи с трауром по почившем венценосце, а также по причине благополучного... *гм, гм...* – приостановился старик, – ну да, именно по причине благополучного восшествия на престол ныне царствующего монарха и дал я шпоры воображению.

– Да не испытывайте же моего терпения! – Лизанька коснулась лилейной ручкой руки генерала, и старый рубака на лету ее поймал.

– Наяда! – сказал он. – Эх, был бы я помоложе, дал бы шпоры воображению!.. Однако, – продолжал генерал, отпустив наконец Лизанькину ручку, – едва я прожекта коснулся, а мысли и пошли крупным аллюром; откуда только они берутся?

– Действительно, – подтвердил Алексей Андреевич. – Ты иной раз думаешь – пустяки, а они, оказывается, предрекают.

– Именно предрекают. – Генерал отхлебнул из бокала и снова обратился к юной хозяйке: – Представь себе, Дульцинея, этакое возвышенное изъяснение верноподданнических чувств и в сопровождении приличных звуков. А?

– Ничего не понимаю, – сказала Лизанька и, видя, что Глинка начал скучать, незаметно, но горячо пожала ему руку.

– Как же тебе понять, тарантелла, – продолжал старый кавалерист, – когда мне и самому вначале туманно было. А чего проще: французик мой надлежащие чувства в стихах излил, а мы их хором исполним.

– А музыка? – заинтересовалась Лизанька и внимательно посмотрела на Глинку.

– Эка беда, музыка! Тот же гувернер что-нибудь подходящее приладит. Для начала этакое фюнебр-трист⁶, а далее – всеобщий мажор и аккорды сердца. А ты, сирена, собирай певуний да кавалеров, и начнем пробу. Галопом марш!

⁵ Мой генерал (*франц.*).

⁶ Траурно-печальное (*франц.*).

– Завидую вашему воображению, ваше превосходительство, – вздохнул Алексей Андреевич. – Дать возможность благородному дворянству излить переполняющие душу чувства – это подвиг, достойный бессмертия! Уповательно, еще и в «Московских ведомостях» пропишут?

– Не льщусь, – скромно отвечал старый воин. – Нет гордыни в капище сердца моего!

– Mon général! – Лизанька привстала с места. – На ловца и зверь бежит. У вас такой очаровательный прожект, а вот вам и сочинитель музыки!

– А! – уставился на Глинку генерал. – В таком случае, надеюсь, не откажете по долгу верноподданного?

– Нимало не обладаю даром сочинительства, – нахмурился Глинка. – Елизавета Алексеевна по доброте своей приписывает мне несуществующее.

– И он еще притворяется! – Лизанька от негодования даже пристукнула кулачком по столу. – А весь Петербург распевает его романсы! Вот вам еще доказательство, – девушка хотела взять с фортепиано только что поднесенные ей ноты.

– Какие пустяки... – смешался Глинка. – Я, право, никак не ожидал...

– Не беспокойтесь, mon général! – перебила Лизанька. – Я отвечаю вам за мосье Глинку по праву дружбы. Мы завтра будем у вас.

И так случилось, что на следующий день они действительно поехали к Апухтину и французик-гувернер, состоявший при генеральском потомстве, вручил им свое сочинение. Здесь были стихи для хора, для арии и снова для хора. Все это, изложенное по-французски, как нельзя более подходило для выражения чувств российского дворянства.

Генерал был положительно в ажиотаже. Лизанька смотрела на Глинку пламенными глазами. Хмурый и растерянный, он положил наконец стихи в карман.

– Дриада! – сказал тогда генерал, взяв девушку за подбородок.

Он, может быть, снова дал бы шпоры воображению, но Лизанька присела в низком реверансе, послала старику воздушный поцелуй и быстро выбежала из комнаты.

Вечером, перед отъездом в Новоспасское, Глинка опять был у Ушаковых.

– Напишите самую очаровательную музыку, Мишель, – сказала при расставании Лизанька. – Подумайте, какой счастливый случай представить вас всему обществу!

– Но я вовсе не ищущий этой чести, – отвечал Глинка.

– Боже мой! – удивилась Лизанька. – Но если... Ох, какой ты неловкий... – Девушка в смущении не находила слов. – Но если объявят о нашей помолвке... – Лизанька приникла к молодому человеку. – Исполни мое желание – и я обещаю тебе все, что ты захочешь! Теперь ты сочинишь музыку, мой Индрик-зверь?

Глава шестая

– К черту! К дьяволу! – злорадно повторяет Глинка и, минуя птичьи клетки, решительно идет к пылающей печке, чтобы бросить в нее измятые листы.

Но тут в воображении перед ним предстает лилея Лизанька. Он видит ее обещающие глаза, слышит ее горячее дыхание и признается, что даже вдали от нее, даже в Новоспасском, не в силах противиться этим чарам.

Глинка разглаживает помятые листы и снова перечитывает французские вирши. Где-то в глубине темных глаз зажигаются упрямые огоньки. Пусть бессилен он противиться Лизаньке, но музыка, если суждено ей родиться, пойдет своим путем. Не властны над ней ни Лизанька-лилея, ни генерал-«аллюр», ни верноподданный поэт из Марселя.

Садясь за рояль, Глинка еще раз покосился на письменный стол. Вирши, оплакивающие смерть Александра Павловича, безмятежно покоились рядом с памятным башмачком. Но сочинитель так углубился в мир рождающихся звуков, что и башмачок и вирши были тотчас

забыты. Музыка действительно пошла своим путем. Музыка скорбела о безвременье и о тех, кто в безвременье погиб.

– А надо будет – француз подкинет любые метры! – Сочинитель оторвался от рояля, и в глазах его снова зажглись упрямые огоньки.

Он работал упорно и быстро, довольный своей хитростью. Печальная, величавая тема разрасталась и ширилась, а в воображении уже обозначилась центральная ария: Россия жива и будет жить.

– Опять перетрудился? – спрашивала, присматриваясь к сыну, Евгения Андреевна.

– Где там, маменька, – грустно отвечал сын. – Так ли надобно трудиться в искусстве! – Он присел рядом с матушкой. – Позвольте только самую малость отдохнуть у вас.

– Отдыхай. Однако, смотрю я, совсем ты без прибывку трудишься. Ни наград, ни чинов за музыку не жалуют. Какая же тебе корысть?

– Вы, маменька, никогда о том не спрашивали.

– А материнскому сердцу какой спрос? – Евгения Андреевна погладила сына по голове, как маленького. – Раньше я и сама не знала, как на тебя смотреть. Мало ли в юности причуд бывает! А порой и до старости тешится ими человек. Хоть бы Афанасия или Ивана из наших, شماковских, взять – ведь тоже музыканты!

– Разумеется, – подтвердил Глинка. – В особенности дядюшка Иван Андреевич.

– Уж ты рад его, беспутного, хвалить!

– Да чем же беспутный, маменька? Если вы насчет Дарьи Корнеевны сомневаетесь, так ведь, ей-богу, славная женщина. И дядюшка с ней, смотрите, ожил.

– Не мне их судить, – отвечала Евгения Андреевна, – люди и без меня засудят. Да я, пожалуй, не о том. Музыка у Ивана непутевой оказалась. Никуда сама не пошла, никуда и его не привела. Вот и остался он в разоренном гнезде, что он, что Афанасий.

– А я? – заинтересовался Глинка. – Смогу ли я в музыке хозяйствовать?

Евгения Андреевна пристально посмотрела на сына.

– Никогда я тебе мнения моего не говорила и знать не могу – тоже ведь شماковской барышней родилась. У клавирина выросла, а знания ухватила – на ломаный грош!

– Когда же вам, маменька, было, коли замуж вышли!

– Ну да! – усмехнулась Евгения Андреевна. – А теперь на папеньку да на вас ссылаться – чего лучше? Только я тебе так скажу: если бы не дворянская наша лень да если б душа у меня была просящая...

– Полноте, полноте! Никак не согласен! – перебил Глинка.

– А ты дай досказать, коли сам спросил. Другие, смотришь, служат или в имении хозяйствуют, байбаками живут или плодятся, а ты у меня пламенем горишь. Давно я материнским сердцем знаю: не наш ты, не житейский человек. А легко ли тебя, милый, музыке отдавать – про то мне ведать. Только ничего не поделаешь, без моего спросу она обошлась. Мне ж теперь одно осталось: тебе, голубчику, жизнь облегчить... – Евгения Андреевна помедлила. – А с Лизанькой у тебя как? Не серьезное ли затеял?

– Не знаю, ничего, маменька, не знаю. На днях в Смоленск поеду и, если дело толком объяснится, вам первой скажу.

– Не торопись только. Ты и в амурах огневой... а для прохладения из атласных башмачков пьешь. Только вряд ли этак разум остудишь... Ты про учителя, который у Ушаковых жил, слышал?

– Какой учитель? – удивился Глинка.

– Ничего, стало быть, не знаешь?.. Был у Алексея Андреевича взят в дом для обучения Лизаньки какой-то англицкий выходец, Шервуд, что ли, если не запамятовала. И чудил же с ним Алексей Андреевич! В то время наяву им грезил и дочь готов был за него отдать, лишь

знамения ждал... Ну, было ли ему знамение или не было, не скажу тебе, только послал он своего любимца на военную службу – чины добывать, чтобы не зазорно за него дочку сватать.

– А Лизанька?

– Об этом, голубчик, сам ее спроси. А еще лучше – обожди. Коли серьезное у вас дело, сама она тебе скажет. Не близкие мы с ними. Знаю то, что сама от Алексея Андреевича слышала. А сплетен разве оберешься? Ты и сам их Лизаньке прибавил. Башмачок у нее с ноги снял, а люди теперь тот башмачок ей на шею повесили. Или не так говорю?

Вернувшись от Евгении Андреевны к себе, Глинка снова взялся за кантату. Надо было кое-что сызнова испытать, еще раз сообразить и вникнуть в самый дух гармонии. И это тоже было, пожалуй, плохо для нетерпеливой Лизаньки, которая никак не могла понять, что какие-то незадавшиеся гармонии могут хотя бы на лишний час задержать влюбленного.

Глава седьмая

Смоленское благородное общество шумело и волновалось. Впрочем, это волнение не имело никакой связи с музыкальным вечером, затеянным генералом Апухтиным. Город потерял голову от приезда всероссийской знаменитости. То был явившийся неожиданно-негаданно бравый прапорщик Иван Васильевич Шервуд. Трудно было бы узнать теперь в нем безвестного унтер-офицера, который тайно скакал в Таганрог и открыл императору Александру Павловичу все, что выпытал о заговорщиках, умышлявших против самодержца. Собачьим нюхом выведдал Иван Васильевич многие важные известия о тайном обществе, образовавшемся на юге. По горячему следу привел царских ищеек к Павлу Пестелю и товарищам его.

Недаром ревностного слугу лично благодарил император Николай Павлович и поцеловал его в яркие, пухлые губы. И эти самые губы ныне приводили в истому смоленских благородных девиц.

Иван Васильевич, будто нарочно, то и дело появлялся на улицах Смоленска в шинели, лихо накинута на одно плечо. Он любил промчатся по городу в открытых санях, подставив ветру могучую грудь, и тогда еще более волновались девичьи сердца. Это волнение было тем понятнее, что в городе уже веяло коварное дуновение весны. А Иван Васильевич бывал и на улицах и в гостиных, как будто решил осчастливить Смоленск навеки.

Он состоял всего в чине прапорщика, пожалованном ему за открытие заговора; однако, расцелованный самим императором, мог завтра стать генерал-адъютантом, графом, министром, черт знает кем!

Иван Васильевич и сам не отрицал своего государственного предназначения, хотя не пускался в пространные декларации. Каждый понимал, что о подобных предметах положено говорить не в губернских гостиных, а в царском дворце или в государственном совете. Но таких высот избегали касаться господа смоляне.

Только порой вдруг засосет под ложечкой у какого-нибудь многосемейного дворянина: «Чем не шутит чертяга? Возьмет этакая государственная персона да и брякнет: «Прошу руки и сердца дочери вашей, Семен Прохорович! Осчастливьте на всю жизнь». И опять сосет под ложечкой у Семена Прохоровича: «А почему бы и не выйти мне в камергеры через Настеньку или Парашу? Девицы по всем статьям в порядке и на выданы...»

Но тут же и опомнится мечтатель: Иван Васильевич Шервуд квартировал в доме Алексея Андреевича Ушакова, принятый там, как свой. Лизанька Ушакова оказалась в очевидном преимуществе перед губернскими невестами.

– Вот тебе и знамения! – кряхтели друзья и приятели Алексея Андреевича. – Ежели он в этакую точку потрафил, как ему, старому кобелю, в свои знамения не верить?..

И многие, даже малознакомые, поехали с визитами к Алексею Андреевичу.

Алексей Андреевич был ко всем ласков. Насчет знамений, явленных ему в прошлом, подтвердил, а насчет будущего высказался неопределенно.

– Ожидая, непременно ожидаю, – говорил он, – а пока, представьте, не имею.

И гости уезжали не солоно хлебавши, порой даже глазом не кинув на персону. Шервуд либо пребывал в отведенных ему покоях, либо выезжал, сопровождая Елизавету Алексеевну на правах друга и бывшего учителя.

У генерала Апухтина собирались будущие участники музыкального вечера. В ожидании музыки, которую где-то сочиняет неизвестный молодой человек, играли в колетку или в фанты. Молодые люди прикидывали, долго ли ждать до ужина; девицы вздыхали втихомолку, глядя на неразбитных кавалеров.

Но вдруг по всему дому произошло какое-то движение. Сам генерал выбежал в переднюю. Пока гость охорашивался перед зеркалом, старик отвел в сторону Лизаньку Ушакову и стал ей тихонько выговаривать:

– Да ты никак спятила, Афродита! Этакую персону – и запросто... Хоть бы записочкой предупредила!

Афродита рассмеялась, потом шепнула генералу:

– Но ведь он совсем простой, уверяю вас! – И, говоря так, Лизанька с фамильярностью, свойственной баловницам счастья, положила ручку на генеральское плечо.

Когда прибывшая персона в сопровождении mademoiselle Ушаковой и хозяина дома проследовала в гостиную, там уже курили благовонными травами, а в люстре и в канделябрах горели вместо сальных восковые свечи.

– Прошу вас, mademoiselles et messieurs, – оказал басом Иван Васильевич, отдавая общий поклон, – sans cérémonies⁷, – И эполеты знаменитого гостя ослепительно вспыхнули в блеске свечей.

Кавалеры, сбившиеся было табунком, приободрились и вернулись к дамам. Игра в фанты продолжалась, но ни одна из девиц не могла вытянуть такого фанта, как тот, который, по всем достоверным признакам, достался Лизаньке Ушаковой.

– Прошу вас не стесняться, господа, – благосклонно сказал Шервуд, намереваясь принять участие в играх. И он еще раз ободрил робких кавалеров: – Sans cérémonies...

Лизанька играла рассеянно. Пожалуй, именно она уделяла наименьшее внимание знатной особе. Не значило ли это, что мысли девы витали далеко? Может быть, летели эти мысли к новоспасской усадьбе, к заветной комнате, где трудится над будущей кантатой избранник сердца? Все это могло быть именно так. Во всяком случае Лизанька не вышла из рассеянности, пока не уехала в сопровождении Шервуда.

В карете Иван Васильевич обнял ее и привлек к себе.

– Sans cérémonies? – укоризненно улыбнулась Лизанька.

В ее взоре были и нерешительность и колебание. Мысли ее опять блуждали вдалеке. Они действительно неслись к Новоспасскому, но были полны тревоги: стоило ли так торопиться с Мишелем?..

А Глинка все еще сидел над нотами. Музыка окончательно пошла своей дорогой. Музыкант воплощал свои мысли о родине и о себе самом. Декабрьские происшествия в Петербурге – хотел или не хотел этого сочинитель – продиктовали первый скорбный хор кантаты. Потом он думал о российских героях и здесь черпал вдохновение для центральной арии.

Лилея Лизанька потеряла в эти дни всякую власть над ним. Французские вирши, предназначенные для кантаты, были забыты. Можно сказать, музыка противоборствовала им каждой своей мыслью. Но что значило это противоборство в сравнении с теми испытаниями, которые готовило музыканту будущее? Сейчас он отметал вирши безвестного француза-гувернера;

⁷ Без церемоний (франц.).

придет время, и на его вдохновенное создание, посвященное народу, ополчатся поэты-царедворцы. Будущий автор «Ивана Сусанина» еще только вступал на путь борьбы с льстивой казенной словесностью, которая попытается полонить, исказить и присвоить драгоценнейшее из его созданий. Стычка с гувернером-виршеплетом свидетельствовала об одном: муза Михаила Глинки была от рождения воинственного нрава.

Кантата была, пожалуй, готова. И центральная ария тоже. Глинка решил сам петь ее на предстоящем вечере у Апухтиных. Он сидел и раздумывал о том, как должен действовать в жизни и в музыке герой.

В эту минуту вошел к сыну Иван Николаевич, только что вернувшийся из обычных странствий.

– Представь себе, друг мой, завернул я в Смоленск – сраму насмотрелся. Занесло туда какого-то Шервуда, что ранее у Ушаковых проживал, а ныне в герои вышел. Пошел вверх по деликатному делу, которое и не обозначишь на приличном лексиконе... И этого доносителя, презревшего честь и товарищество, запуски в дома приглашают. Нестерпимо видеть!

По свойственному ему обычаю Иван Николаевич несущественного не коснулся и о Лизаньке Ушаковой не обмолвился ни словом.

– А как ты со службой, друг мой? Не время ли тебе ехать?

– Не могу и помыслить о Петербурге, – отвечал сын.

– И я так полагаю, лучше обождать. Ведомо ли тебе, что, по верным известиям, взят в Варшаве сумасброд Кюхельбекер?

Иван Николаевич поднялся.

– Так пошли же немедля в Петербург свидетельство о болезни, чего проще!

С того дня Михаила Глинку начали мучить приступы бессонницы.

Ночью ему вдруг представилось, что Кюхлю тащат на плаху.

Глинка подошел к столу, зажег свечу. На столе стоял как ни в чем не бывало башмачок лилеи.

Глава восьмая

Последние байбаки и те боялись опоздать на музыкальный вечер к генералу Апухтину, после того как стало известно, что торжество почтит своим присутствием государева доверенная персона.

Самые ленивые дворяне с невиданной поспешностью вылезали из засаленных халатов и облакались во фраки. Почтенные отцы семейств то и дело вихрем носились на дамские половины.

– Карета Друцких проехала, разрази меня бог! – вопил муж и отец, обычно не подававший дома признаков жизни.

– У Гедеоновых запрягают! – кричал другой, барабаня в запертые двери.

– В Сибирь вы меня упечете! – плакался в отчаянии третий, проклиная мешкотных дам.

Словом, всеобщее усердие было таково, что съезд к апухтинскому дому начался задолго до объявленного часа.

Сам генерал, при всем своем воображении, диву дался:

– Черт их несет в этакую рань! Что за притча, Михаил Иванович?

А Михаил Иванович Глинка, будучи занят последней репетицией с хором, даже не слышал вопроса. Перед ним стоял с нотами в руках Карл Федорович Гемпель, сын органиста из Веймара, промышлявший музыкой в Смоленске.

– Имею одно маленькое недоразумение, Михаил Иванович, – говорил он, водя пальцем по нотному листу. – Есть ли целесообразно сопоставление тонов C-moll и B-dur⁸?

Глинка углубился в ноты, но певцы и певицы, окружившие его, потребовали новых наставлений маэстро.

Весь дом наполнился шумом голосов, а в комнатах, отведенных для артистов, еще шла репетиция. Когда наиболее любопытные из гостей прорывались сюда, барышни-певицы пронзительно визжали и разбегались. Спевку надо было начинать сначала.

Глинка проклинал и себя и всю Лизанькину затею... Но именно Лизаньки-то и не было среди певиц.

Когда он, приехав в Смоленск, бросился к Ушаковым, ему сказали, что барышня заболела и не покидает постели.

Сочинителю кантаты ничего не оставалось, как с утра до вечера заниматься репетициями. Хор слаживался плохо. Даже сейчас артисты все еще фальшивили.

Из залы было слышно, как рассаживаются, переговариваясь, гости. Волнение артистов нарастало. Только Карл Федорович Гемпель, ко всему равнодушный, снова встал перед Глинкой:

– Я все-таки полагаю, Михаил Иванович, что C-moll не есть добрый сосед для B-dur!

Вместо ответа Глинка оставил Карла Федоровича на растерзание девицам, а сам юркнул к двери, которая вела в залу. Сквозь узкую щелку он оглядел публику. В первом ряду сидела лилея Лизанька и рядом с ней – бравый офицер. Офицер близко склонился к своей даме и едва не касался толстыми мокрыми губами ее крохотного ушка. Сочинитель кантаты был уверен, что Лизанька тотчас ответит ушко. Но она не успела этого сделать, а Глинку потянули за фалды фрака сразу несколько рук. Хористы готовились к выходу. Девицы напоследок прихорашивались. Карл Федорович уже вышел в залу и, заняв место за роялем, оглядел выстроившийся хор и дал знак к началу...

Глинка оставался в артистической в полном одиночестве до тех пор, пока не кончился первый хор. Тогда он вышел в залу, чтобы исполнить героическую арию, и... должен был собрать все свое мужество.

Положение в первом ряду значительно изменилось. Теперь на лилейной ручке Лизаньки плотно лежала мясистая рука ее кавалера. Очевидно, этому прапорщику разрешалось гораздо больше, чем дозволяется по этикету другу и бывшему учителю. На какой-то миг артист не то замешкался, не то смутился. Карл Федорович поднял на него недоумевающие глаза. И героическая ария началась.

Все общество, присутствовавшее у генерала Апухтина, наперебой расхваливало кантату. Впрочем, в отношении музыки публика по новизне дела могла бы оказаться в немалом затруднении: как ее понимать, эту музыку, сочиненную уездным дворянином на события, столь достопамятные в российской истории?

Так, может быть, и не сложилось бы о музыке никакого мнения, если бы не выручил общество именитый гость. Иван Васильевич Шервуд решительно похвалил и певцов и музыку. Он изъявил полное удовольствие хозяину дома:

– При случае, – заключил Иван Васильевич, – буду рад аттестовать и ходатайствовать в Петербурге.

Генерал стоял перед прапорщиком чуть не навтыяжку и слушал с умилением. Когда же Иван Васильевич обернулся к сопровождавшему его губернатору, лихой рубака перещеловал ручки у Лизаньки.

– Венера, родившаяся из пены! – сказал ей генерал, не тая ни слез, ни благодарности.

⁸ До-минор и си-бемоль-мажор – названия тональностей.

А Иван Васильевич покровительственно похлопал по плечу поэта-гувернера и любезно пожелал видеть сочинителя музыки. Но тут произошло досадное замешательство. Ни хозяин, ни добровольные гонцы, бросившиеся искать Глинку по всему дому, нигде не могли его найти.

За ужином Лизанька Ушакова сидела рядом с Шервудом на самых почетных местах. Опьяненная успехом, она прикрыла благоухающие губки веером и сказала своему кавалеру:

– Я всегда верила в твою звезду... всегда!

– А этот... как его... сбежавший музыкант?

Лизанька подняла на Ивана Васильевича лучистые глаза.

– Ты ревнуешь?

Вместо ответа Шервуд басовито рассмеялся и лихо прикрутил колючий ус.

Тут хозяин дома провозгласил тост за здоровье дорогого гостя, известного доблестью и геройством его императорскому величеству.

К Шервуду потянулись чокаться.

Всероссийская знаменитость прапорщик Шервуд и безвестный титулярный советник Глинка так более и не встретились. Но на следующий день, когда Глинка шел с Карлом Федоровичем Гемпелем, он неожиданно столкнулся на улице с Лизанькой Ушаковой.

– Какая счастливая встреча, Мишель! – обрадовалась лилея. – Я еще вчера искала вас, чтобы сказать, что Иван Васильевич будет рад дать вам все доказательства истинной дружбы, если у вас встретится какая-нибудь надобность в Петербурге.

В это время подъехали, ныряя по ухабам, Лизанькины сани. Лилея села и умчалась.

– Очень приятная барышня, – сказал Глинке Карл Федорович и вернулся к прерванному разговору: – Вы есть настоящий талант, Михаил Иванович, но C-moll все-таки не есть близкий приятель для B-dur. Я всегда буду не соглашаться с вами!..

Вот и все, что случилось в Смоленске. А после возвращения Глинки в Новоспасское у него начались жестокие приступы нервической лихорадки.

Над Островом муз зажигались вешние зори. Только музы не возвращались. Должно быть, с тех пор, как Поля переселилась в Руссково, капризницы-музы тоже покинули тихий островок.

Осунувшийся Глинка часами сидел перед окном. Головные боли мучили до того, что он, кажется, и в самом деле помнил далеко не все, что произошло в Смоленске. Иногда ему представлялось, что Лизанька садится за фортепиано и напевает усачу-прапорщику: «Не искушай меня без нужды...» Тогда Глинка сжимал виски. «Может быть, еще о музыке, подлец, рассуждает, – думалось ему, – может быть, и слезы дрожат в глазах, чуть-чуть тревожных, как у гончей, идущей по следу».

Известие, пришедшее вскоре из Смоленска, вывело Глинку из состояния подавленности – Лизанька была объявлена невестой.

Евгения Андреевна все чаще поднималась наверх к сыну, и бывало всегда так, что помолчат они, а потом подойдет к ней Глинка и, обняв матушку, непременно скажет:

– Друг мой маменька, ободрите недостойного сына, стоящего на горестном распутье.

Сначала Евгения Андреевна опасалась, что сын, потерпев крушение у Ушаковых, терзается самолюбием и ревностью отвергнутого жениха. Стала утешать его Евгения Андреевна, но сын с таким удивлением взглянул на нее, что она вздохнула с облегчением.

– А что со мной было, маменька, – сказал Глинка, – я вам притчей изъясню. Сидите вы, представьте, в театре и видите, как полыхают на театральном небосклоне слепящие молнии. И вы видите эту молнию и, может статься, даже прикроете глаза рукой, и дела вам нет до того, что стоит в кулисах пиротехник и зажигает свои составы... Вот и со мной то же случилось. Поверил, дурень, в молнию, а составы, слава богу, дотла сгорели. Вот и вся притча, голубчик маменька!

– Ох ты, огневой! – улыбнулась Евгения Андреевна. – Спасибо сам не сгорел.

– А надо бы мне хоть от стыда сгореть! – Глинка прошелся по комнате и вернулся к матери. – Как я мог в этакую пиротехнику поверить? – сказал он не то всерьез, не то шутя.

Глава девятая

Пелагея Ивановна Соболевская и в Русскове завела себе светелку. Жила на высоте, как птица. Когда мужа не было дома, Поля вовсе не сходила вниз. Сидела у окна и раздумывала о том, в чем никому, даже себе самой, не хотела признаться: с каждым днем уходили ее силы.

За окнами по полям шла весна. Прошла весна по озимому клину, встали озимые в рост, поклонились весне в пояс: «Ступай, матушка, в яровое поле, теперь, авось, мы сами обойдемся». А яровые, глядь, тоже зеленеют. И пошла весна в дальний лес. В лесу всякая мелкота, что в воздухе кружит и в земле копошится, и та житейским делом занята: трудится, гнездится. А через лес вьется дорога с придорожным цветом, с попутным ветерком.

Глядит на дорогу Пелагея Ивановна: нет как нет из Новоспасского дорогих гостей. И вдруг станет ей страшно – то заломит в груди, то застучит в висках. Оботрет Пелагея Ивановна влажный лоб и опять задумается: «Почему же ты, весна, не для меня пришла? Не тебе ли на мое счастье любоваться?»

Но стоит вернуться с полей Якову Михайловичу, глубоко спрячет невеселые думы молодая жена и крепко обнимет мужа.

– Ой, какой ты чумазый, Яков!

– А все, Полюшка, зря, – смеется Яков Михайлович, – не выходит из меня хозяин.

– И не надо, – утешает Поля. – Мужики сами управятся, а ты со мной останься.

И Яков Михайлович, конечно, оставался. Хозяйство шло без хозяина. Молодожены довольствовались малым: Поля – светелкой, Яков Михайлович – книгами.

– Почитай мне, Яков, – просит Поля.

– Изволь, душа моя!

Яков Михайлович берет недавно полученную книжку – «Стихотворения А. Пушкина» – и читает и перечитывает Поле впервые собранные воедино произведения поэта.

– Какой счастливый наш Мишель! – говорит Поля. – Если бы и мне увидеть Пушкина!

– Мудреное дело, – Соболевский задумывается. – Теперь держат Пушкина в деревне, под строжайшим надзором.

– Господи! – Поля крестится и говорит совсем по-детски, будто читает молитву: – Спаси и помилуй Пушкина, аминь!

– Хорошая ты моя! – Яков Михайлович целует женину руку. – Ныне на Руси никаких молитв не хватит для спасения лучших ее сынов. – И вдруг спохватывается, потому что Поля закрывает лицо руками и между тонких ее пальцев одна за другой просачиваются слезы.

– Ну, полно, полно, голубка! – обнимает ее Яков Михайлович и крепко прижимает к груди, чтобы защитить от всех бед и страхов...

Нет, не в доброе время решила судьба Пелагеи Ивановны. Дальние петербургские события, сколько времени ни проходило, сохраняли над ней странную власть. Соболевский давно скрывал от жены столичные новости. А по этим известиям выходило, что среди заговорщиков под следствием, кроме Петра Каховского, было много смолян: Якушкин, Фонвизин, Рачинский, Повало-Швейковский... А что бы сказала Поля, если бы признался ей муж, что со многими из них виделся он на прежних сборищах в ельнинских и вяземских усадьбах! Тревожится Соболевский и за Михаила Глинку, особенно после ареста Кюхельбекера, но ничего не говорит об этом жене.

– Не съездим ли, Полюшка, в Новоспасское? – предложил ей Яков Михайлович в погожий день.

Поле особенно недужилось, но она превозмогла себя:

– Ой, какой ты умный, Яков! Я только что об этом подумала.

К старосте пошел приказ готовить тройку, но поездка не состоялась.

На выезде из дальнего леса показался столб пыли. Этот столб быстро приближался к Русскому. Ветер отнес пыль в сторону, и в коляске, запряженной парой, встал с сиденья молодой человек невысокого роста и замахал шляпой.

– Он! – Поля стремглав бросилась к дороге.

Яков Михайлович едва мог за ней поспеть, а когда они подбежали к коляске, их обоих нежно обнял Михаил Глинка.

Внешне он был бодр, даже весел. За обедом много шутил над Полиным меню. Оно, пожалуй, и впрямь было странновато: после ботвиньи подали жирного гуся, потом появился запоздалый пирог. Глинка отведал пирога и сказал Поле наставительно:

– Только у добрых хозяек бывают хорошие пироги. Совершенствуйся в добродетели, если хочешь кормить пирогами.

Когда перешли в гостиную, Глинка в раздумье остановился у фортепиано.

– Теперь, пожалуй, и я вас кое-чем попотчую. – Вспомнил недавний разговор с Полей и улыбнулся ей. – Сдается, одолел чучел. А впрочем, сами судите.

Он сел за фортепиано и хрипловатым голосом запел:

О красный мир, где я вотще расцвел,
Прости навек; с обманутой душою
Я счастья ждал – мечтам конец;
Погибло все; умолкни, лира;
Скорей, скорей в обитель мира,
Бедный певец!

Поля слушала со слезами на глазах. Соболевский пристально глядел на певца. По мере того, как развивался романс, он стал поглядывать на Глинку вопросительно.

– Я ничего не понимаю в музыке, – заговорил Соболевский, когда звуки смолкли, – но всем сердцем чувствую, что твоё создание прекрасно, *однакоже...*

– *Однакоже?* – быстро переспросил Глинка.

– Изволь, скажу. Ты излил в звуках ту печаль, которой полнится сейчас каждое честное сердце на Руси. Каждый мыслящий человек поймет тебя: да, могильной тишиной объята родина. Точно, погибло все! Могильщики схоронили наши лучшие надежды. Но не истолкуют ли твою музыку как память о тех певцах, которые ждут сейчас решения своей участи?

– Кого ты разумеешь? – Глинка испытующе посмотрел на Соболевского.

– Не тебе ли лучше знать тех, кто томится в казематах? – отвечал Соболевский.

– А... – протянул Глинка и совсем близко подошел к зятю. – Чудак ты, Яков! Какое же отношение могут иметь к ним стихи почтеннейшего из стихотворцев – Жуковского? На него и сошлешь в опровержение твоей мысли.

– А коли ты заранее опровержение готовишь, значит я трижды прав?

Глинка молча ходил по комнате.

– Так неужто ты заподозрил мою музыку в сочувствии тем, кому даже сочувствовать запрещено? – спросил он после долгой паузы.

– Еще бы! – подтвердил Соболевский. – Но ты сделал ловкий ход, лукавый дипломат. Конечно, сановный стихотворец никак не повинен в сочувствии к певцам, томящимся в узнице. Но смотри, как бы тебя не перехитрили в твоей хитрости.

– Но что же делать, Яков Михайлович? – отвечал Глинка. – Хочу того или не хочу, не согласна музыка моя жить вдали от земных наших дел. И не страшно ли было бы безмолвие наше, когда приказывают нам молчать?

– Мудреное дело затеял, Михаил Иванович! Кто рискнет сейчас говорить о тех, кто пережил крушение всех надежд и гибнет за народ, оставаясь неведомым народу? Мы бессильны, – печально заключил Соболевский, – и можем только проклинать свое бессилие.

– Не клевети, – сурово сказал Глинка. – Не бессильна нация, на твоих глазах свергнувшая Бонапарта.

– То нация, а то мы, – Соболевский вздохнул. – Слышал, как платят сейчас неповинному селянину за пережитые зимой страхи? Сам, поди, знаешь, как безудержна дворянская алчность в поборах. И любой кровопийца прав. Всякую жалобу тотчас к бунту приравняют и до тех пор не успокоятся, пока не сведут несчастного со света! А вот тебе еще пример. Ну, представь, позовут тебя куда надо да поставят вопросные пункты: объясните, мол, и со всей подробностью, кого именно имели вы в виду, сочиняя музыкальную пьесу вашу «Бедный певец»? Что ты тогда скажешь?

– Ну что ж, тогда объясню, – Глинка хитро прищурился, – что по романтическому своему устройству люблю поплакать над меланхолическими стихами... Разве возбраняется хотя бы и титулярному советнику пролить слезу на стих, одобренный начальством?

– Значит, пасуешь? – спросил Соболевский.

– Лучше до времени отступить, чем без времени погибнуть. Не дока я в тактике и фортификации, думаю, однако, что каждая позиция хороша, если может с пользой от неприятеля укрыть. Не тому ли учит нас недавнее? Трудно, Яков Михайлович, в безутешное время жить, но и бездействие было бы хуже смерти.

Разговор затянулся до поздней ночи. Поля задремала, склонившись к мужу, и вдруг, вскрикнув, проснулась.

– Что с тобой? – встревожился Яков Михайлович.

Поля сидела бледная. На лбу выступила испарина.

Едва владея собой, она опять прибегла к хитрости.

– Приснилось что-то, – сказала она, с трудом улыбаясь. – Милые вы мои, если бы нам никогда не разлучаться... Ты погостишь у нас, Мишель?

– Денек-другой, хоть гони, не уеду!

– Спасибо! И за песню твою тоже... Господи, неужто никто не заступится за несчастных? – И она ласково обняла и поцеловала брата.

Вернувшись в Новоспасское, Глинка продолжал свои занятия. Евгения Андреевна внимательно за ним наблюдала. А сын – так повелось теперь – ей первой играл и пел свои новые сочинения.

Однажды он исполнил «Бедного певца».

Дослушав романс до конца, Евгения Андреевна спросила:

– Неужто это и есть то главное, что ты искал и нашел в могиле?

– Нимало, маменька! Сам на себя удивляюсь: что сейчас ни произведу, везде непременно объявится наше безвременье. Только собирался идти вслед за поэтом, да каким поэтом! И опять с Василием Андреевичем разошелся. Куда он, господин Жуковский, приглашает? К покою зовет? К примирению со смертью? Одним словом, к сладкому забвению? А музыка покоя не хочет. Она, как песня, к будущему бежит. Она малодушных пробудит! Понятна ли вам, маменька, сия внутренняя музыка?

Евгения Андреевна, как ни старалась, плохо понимала. А сын, отдохнув, уходил к себе и тянулся к новому нотному листу...

В то время Александр Пушкин уже подал руку музе, и она сошла с парнасских высот в российские селения. Муза, ведомая за руку поэтом, побывала в деревне и встретила с пахарем. Муза посетила сельскую усадьбу Лариных. Она дерзнула заглянуть и в древние чертоги царя Бориса и на Красной площади стала неразлучна с народом. Муза, доверившись Алексан-

дру Пушкину, не собиралась возвращаться на Парнас и все больше заявляла права на то, чтобы стать россиянкой. Поэзия обрела свое отечество. Только сам поэт оставался в опале.

А в Новоспасском сидел помощник секретаря из ведомства путей сообщения и задавал музыке новые задачи. Хотел, чтобы музыка тоже перестала быть безродной, и звал ее на битву.

Так сидел он в Новоспасском и, исписав один нотный лист, тянулся к другому.

А по службе истекала одна отсрочка за другой.

«Не пропадет ваш скорбный труд...»

Глава первая

Лето 1826 года было сухое и знойное. Под Петербургом горели леса. Едкий запах гари достигал столичных улиц, проникал в окна и рождал в городе смутное ощущение тревоги.

Истомленные люди ждали вечерней прохлады, но к вечеру еще более раскаленным становился недвижимый воздух. Над Невой медленно клубились зловещие дымки, и сквозь эту плывущую завесу угрюмо выступали бастионы Петропавловской крепости. Даже златокрылый ангел, глядящийся с крепостного шпица в стремнину невских вод, был едва видим в этот час. И печальный звон курантов, едва родившись, угасал в сумрачной тишине.

Но под утро в крепости начиналось стремительное движение. Из ворот одна за другой выезжали щегольские кареты и, гулко стуча по мостовой, торопливо исчезали в безлюдных улицах. Златокрылый ангел равнодушно смотрел им вслед, и снова играли крепостные куранты, а над городом вставало багровое солнце.

Казалось, с воцарением императора Николая порядок торжествовал во всем. Только вокруг столицы горели леса да в крепости шел розыск о бунте. Там все дольше и дольше задерживались по ночам усердные следователи.

Между тем с заговорщиками надо было торопиться. Его величеству надлежало приступить к священному коронованию, а прежде того следовало избавиться и от северных и от южных «друзей 14 декабря».

Напрасно император выпячивал грудь и покрикивал фельдфебельским басом, напрасно утешал себя тем, что под золотым крылом ангела-хранителя собраны в крепости все, кто посягал на бунт или сочувствовал бунтовщикам. Страх, испытанный монархом в день восшествия на прародительский престол, так и не проходил. Ему верилось, что он избавится от этого страха лишь в тот день, когда... Словом, с заговорщиками надо было торопиться!

Все позже выезжали из крепости кареты сановных следователей. А днем столица жила обычной жизнью. В церквах молились, в лавках торговали, в присутствиях скрипели перья.

Пооглядевшись на престоле, император занялся неотложными преобразованиями. Склонный к чувствительности, он собственноручно вручил жандарму Бенкендорфу тончайший батистовый платок, дабы утирать слезы несчастным. Тогда, не затрудняя жандармов лишней работой, догадливо samozакрылось общество любителей российской словесности.

Даже в театральном партере не осталось былых шумных партий. Уподобясь одному из персонажей запретной комедии о Чацком, венценосец объявил, что водевиль есть вещь, а все прочее гиль! Театры перешли на водевиль, артисты пели куплеты, публика аплодировала. Но и в театральный зал проникал едкий запах дальних пожарищ.

А преобразования шли своим чередом. Император, обещавший еще до восшествия на престол вогнать в чахотку всех философов, ныне вспомнил об университетах. Приказано было преобразовать их наподобие учебных полковых команд.

Объединенные чины разных ведомств трудились над сочинением нового устава о цензуре. Устав должен был противостоять натиску нравственного разврата, известного под кратким именем «духа времени». Для искоренения этого духа цензоры должны были наблюдать, чтобы в произведениях словесности сохранялась чистая нравственность, но отнюдь не заменялась одними красотами воображения. «Вольнодумство и неверие, – гласил устав, – не должны употребить какую-либо книгу орудием к колебанию умов».

Император перечитал параграфы устава и размашистой подписью утвердил. В помощь цензуре для борьбы с «духом времени» призваны были все ведомства.

Может быть, только главное управление путей сообщения, пользовавшееся особым вниманием почившего монарха, ныне было не у дел. Однако и здесь неожиданно проявился тот же дух времени, правда под хитрую личиною. Нравственный разврат притаился в проекте строительства рельсовых путей и движения по ним транспортных паровых машин. Проект обещал невероятное: люди и товары будут доставляться из Петербурга в Москву меньше чем в три дня!

Подобный смутительный проект не мог служить к успокоению умов. Очутившись в опытных руках, он получил вращательное движение по разным инстанциям, наконец, по закону сил центростремительных, попал к шталмейстеру высочайшего двора. Шталмейстер Долгоруков описал:

«Рассматривая общую пользу, каковую можно извлечь из учреждения рельсовых дорог с транспортными паровыми машинами, а равно вместе с тем исследовав в точности неудобства, с которыми необходимо сопряжено такое учреждение, я полагаю, что для России, как государства весьма обширного и по его обширности весьма малонаселенного, неудобства сии делают заведение подобных дорог столь же мало выгодным, сколь и затруднительным».

Описав круг, бумаги вернулись на Фонтанку, к Обухову мосту, где обитало главное управление путей сообщения. Первоприсутствующий граф Егор Карлович Сиверс сидел в служебном кабинете и рассеянно скользил глазами по строкам заключения шталмейстера Долгорукова.

Не вникая в подробности, граф обстоятельно взвесил нарастающее значение Долгорукова при высочайшем дворе. Впрочем, преходящая дворцовая фортуна никогда не владела ни умом, ни сердцем первоприсутствующего. Егор Карлович не имел намерения вступать в пререкания по вопросу столь туманному, как транспортные машины. Моцарту, одному бессмертному Моцарту поклонялся Егор Карлович. При мысли о Моцарте лицо первоприсутствующего оживилось, и он решительно потянул за шнур сонетки.

– Пригласите ко мне титулярного советника Глинку, – сказал граф явившемуся чиновнику.

Когда Глинка вошел в кабинет, Егор Карлович любезно встал из-за письменного стола.

– Прошу вас, – сказал он, – пожаловать в четверг ко мне на дачу. Несмотря на зной, возобновим наши квартетные собрания. Рад сообщить вам эту новость.

– Прошу покорно извинить меня по нездоровью, – ответил титулярный советник.

– Полноте! – удивился Егор Карлович. – Какое нездоровье может помешать музыке?.. Кстати, – продолжал он, – приобщите к делу этот манускрипт... И жду вас в четверг.

Рельсовые пути и летящие по ним транспортные машины захватили было воображение Глинки: если б унесла чудесная сила за пределы обыденности!

Однако заключение шталмейстера Долгорукова было подшито к делу, а сам Глинка не только не был унесен за пределы обыденного, но не поехал даже на Черную речку, к графу Сиверсу. Он отказывался с тем же упорством, когда генерал Горголи отдавал ему приказание явиться на свою дачу по петергофской дороге. В этом приказании ему так и слышался голос баловницы Поликсены, и он твердо отвечал генералу:

– К крайнему прискорбию, должен лишиться себя высокой чести и удовольствия... Болезненное состояние едва позволяет мне нести службу...

В самом деле, едва вернувшись в Петербург, молодой человек почувствовал себя больным. Он снова поселился на Загородном проспекте, в том же доме, подле которого в саду стоял павильон с памятной надписью: «Не пошто далече – и здесь хорошо».

Но и в саду воздух был пропитан гарью. Должно быть, именно этот запах гари был особенно мучителен для молодого человека. Тяжелые головные боли, как всегда, привели за собой бессонницу, бессонница доводила до галлюцинаций.

Однако он не манкировал службой и аккуратно высиживал положенные часы в секретарской комнате, в которой зачастую позванивали шпорами адъютанты главноуправляющего – герцога Виртембергского.

Помощник секретаря прислушивался к звону шпор и, путая действительность с воображаемым, кого-то ожидал. Но приходили и уходили разные адъютанты, не приходил только штабс-капитан Бестужев. Глинка снова склонялся к бумагам, и жестокая правда вступала в свои права. Штабс-капитан Бестужев никогда не будет звенеть шпорами – теперь звенят на нем кандалы, набитые на ноги и на руки... Бедный певец!..

Вечерами Глинка медленно расхаживал по комнатам пустой квартиры. Давно ли читали здесь однокорытники стихи Кондратия Рылеева... И ты, бедный певец!

А из прошлого глядел на него милый призрак Кюхли, и опять повторял Глинка:

– Бедный, бедный певец!

Так и бродил он по комнатам, тщетно дожидаясь часа, когда смилостивится сон. В открытые окна вливались новые волны гари. Может быть, и туда, в казематы Петропавловской крепости, проникает эта воздушная гарь, тревожная вестница пожара?

Уже потемнели, словно нахмурились, белые ночи, но дневной зной нимало не спадал. Город жил в томлении. По городу, как искры по пожарищу, носились слухи.

– Сказывают в народе, Михаил Иванович, быть беде, – скрипел дядька Яков, сменивший Илью.

– Какой беде?

– Будто крови прольются реки. Не слышали? Будто станут бунтовщикам головы рубить. Неужто не слышали? – Яков опирается на косяк двери и продолжает: – Сушь вон какая и пожары, а тут еще кровь... Нешто кровью землю напоишь? Бог от века такое запретил...

– Бог! – откликается Глинка. – А кто твоего бога слушать станет?

– Вот то-то и оно, – раздумчиво говорит Яков. – А ежели кровь прольется, она к богу воззовет... Так подам чайку, Михаил Иванович?

– Поди, поди, и без тебя тошно!

Но Яков, воспользовавшись минутой, уже наставил на стол трактирных яств.

Глинка сидел за чаем осунувшийся, с глубоко запавшими глазами. Если же приходило сонное забытие, мозг *попрежнему* испытывал тупую боль. Впрочем, по свойственной ему обстоятельности, титулярный советник продолжал ходить в должность и, по обязанности помощника секретаря, неуклонно просматривал «Правительственный вестник». Тут, в напыщенных словах высочайшего указа, данного правительствующему сенату 2 июля 1826 года, перед ним неожиданно предстало недавнее прошлое.

«В ознаменование благоволения нашего и признательности, – гласил указ, – к отличному подвигу, оказанному лейб-гвардии драгунского полка прапорщиком Шервудом против злоумышленников, посягавших на спокойствие и благосостояние государства и на самую жизнь блаженных памяти государя императора Александра I, всемилостивейше повелеваем: к нынешней фамилии его прибавить слово Верный и впредь как ему, так и потомству его именоваться: Шервуд-Верный».

Деликатная профессия Ивана Васильевича получила еще раз гласное признание с высоты престола. А в сенате уже давно заседал верховный суд, назначенный над теми, кто был заранее осужден царем. В инструкциях, данных судьям, было предусмотрено все – и время и церемониал казни. Казнить осужденных следовало рано утром, но непременно так, «чтобы от 3 до 4 часов могла кончиться обедня и их можно было причастить». Николай Павлович распорядился, чтобы выведенных на казнь барабаны встретили не иначе, как приятной для слуха дробью. Царь земной хотел препроводить свои жертвы к царю небесному с полным соблюдением этикета.

Итак, было предусмотрено все. Оставалось только ждать.

Тринадцатое июля 1826 года император провел в Царском Селе. С утра он был в парке. Стоял над прудом за Кагульским памятником и бросал платок в воду, заставляя собаку выносить его на берег. В полдень к пруду явился камер-лакей. Царь бросил собаку и платок и помчался ко дворцу. Фельдъегерь, прибывший из Петербурга, вручил его величеству спешное донесение: свершилось... Рылеев, Каховский, Пестель, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин были казнены.

«Приговор верховного уголовного суда, – объявили в газете «Северная пчела», – состоявшийся 11 сего месяца о пятерых государственных преступниках, коих оным решено повесить, исполнен сего июля 13 дня поутру в пятом часу, всенародно, на валу кронверка Санкт-петербургской крепости».

Царский манифест в свою очередь возвестил России:

«Не от дерзких мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершенствуются постепенно отечественные установления».

Виселица с пятью повешенными и каторжные приговоры остальным свидетельствовали о том, как «усовершенствуют» свыше русскую жизнь.

Императорский двор собрался на коронацию в Москву. В сутолоке столичной жизни, как песчинка на дне морском, затерялся неприметный чиновник из ведомства путей сообщения. Глинка жил *попрежнему* в уединении. И хотя лесные пожары как-то сразу прекратились и с улиц исчез тревожный запах гари, бессонница и болезненное состояние души еще более усилились.

А с полки смотрели на одинокого человека бережно собранные книжки «Полярной звезды»... В них живет пламенное слово Александра Бестужева. Ни в чем не разошлись слово и дело писателя, ратовавшего за свободу, честь и достоинство народа...

Когда же перечитал Глинка думу Кондратия Рыльева о народном герое Иване Сусанине, тогда с новой силой прозвучали для него слова казненного поэта-гражданина:

Кто Русский по сердцу, тот бодро и смело,
И радостно гибнет за правое дело!..

Неужто только смерть грозит героям на Руси?

Безмолвствовал объятый ужасом Петербург. Но нестерпимо стало бездействие Михаилу Глинке.

«Будешь ли ты, музыка, душа моя, только скорбеть и сострадать, или можешь ты, музыка, возвестить отмщение?»

Он подолгу сидел за роялем. Так провел несколько дней в сосредоточии всех душевных сил. Потом лихорадочно исписал несколько нотных листов. Теперь созданное им наполнилось не только печалью о бедных певцах. Музыка пела славу погибшим деятелям и утверждала их бессмертие.

Сочинитель дописал последний лист и с тех пор не подходил к роялю.

Когда в Петербург вернулся Римский-Корсак, даже он обратил внимание на странный вид сожителя:

– С тобой что-нибудь случилось, Мимоза?

– Ничего.

– Да неужто тебя этак музыка измучила?

– Какая музыка? – отвечал Глинка. – Впрочем, нет сомнения, я, должно быть, действительно занимался музыкой. – Он на минуту задумался, проверяя, стоит ли открывать душу, потом продолжал с недоуменным жестом: – Но, представь себе, решительно ничего не помню!..

Глава вторая

Стоял один из тех редких в Петербурге осенних дней, когда с города вдруг спадает мокрая пелена и солнце покрывает его прозрачной позолотой. Кажется тогда, что этим мерцающим сиянием полнятся и небесная высь, и неторопливые воды, и холодеющий, прозрачный воздух, и каждый шуршащий под ногою лист. Редкие, короткие, как мгновение, дни!

Даже в Юсуповом саду, затиснутом между казенных строений путейского ведомства, пламенели аллеи. Но сад был почти пуст. Только по главной аллее прогуливалась молодая дама, одетая по моде, и с ней молодой человек в изящной крылатке. Они шли медленно, видимо наслаждаясь прогулкой. Молодая дама рассеянно слушала спутника, потом перебила его:

– Смотрите, какое щемящее очарование красоты, которая рождается, живет и умирает, не радуя ничьих глаз! Не правда ли, какая тема для поэта?

Молодой человек прищурился, потом перевел глаза на спутницу, явно любуясь ею.

– Клянусь, Анна Петровна, есть и другие предметы для поэзии.

– О Пушкин, Пушкин! – Анна Петровна Керн шаловливо погрозила пальчиком. – Чьи лавры не дают вам покоя?

За поворотом аллеи сверкнул пруд. Сегодня и он казался позлащенным. Спутник Анны Петровны приостановился, будто пораженный неожиданностью.

– Какой счастливый случай! – сказал он, всматриваясь в даль. – Кажется, с вашего позволения, я буду иметь честь представить вам если не поэта, то живое воплощение музыкальной страсти.

Анна Керн с недоумением глянула на приближавшегося к ним седого генерала в инженерной форме. Рядом с генералом шел молодой человек в гражданском платье.

– Мимоза! – бросился к нему спутник Анны Петровны, в то время как инженерный генерал почтительно прикладывался к ее руке.

– Теперь-то, ваше превосходительство, – говорил путеец Анне Петровне, – вы не откажетесь откушать у меня чашку чая. Ловлю вас на давнем обещании.

– Лев Сергеевич Пушкин, – в свою очередь представила своего спутника генералу Анна Керн.

– А вот вам и воплощение музыкальной страсти, – подвел к ней Глинку Лев Сергеевич.

– И если мы уговорим Михаила Ивановича сесть за рояль... – подхватил генерал.

– Еще бы не уговорить, – решил Левушка, – коли выпала смертному честь играть для Анны Петровны!

Глинка в замешательстве поклонился. Встреча в Юсуповом саду произошла так неожиданно, а Лев Пушкин так крепко держал под руку старого пансионского товарища, что о бегстве нечего было и думать.

...Казенная квартира генерала Базена выходила окнами в Юсупов сад. Общество расположилось в столовой. К чаю, кроме бисквитов, варенья и фруктов, был подан французский коньяк. Презрев чай, Левушка Пушкин обратился к хрустальному графину и тотчас пришел в бодрое настроение. Сыпля каламбурами, он все время поглядывал на Анну Петровну. А когда вставали из-за стола, тихо сказал ей:

– Если б и мне дано было право повторить: «Я помню чудное мгновенье»...

– Вам нечего помнить, – отвечала, улыбаясь, Анна Петровна и взяла Левушку за ухо. – Исполняю долг старшей за отсутствием Александра Сергеевича. Впрочем, он, наверное, поступил бы с вами еще строже, болтунишка!

Радужный хозяин хлопотал у рояля.

– Вы услышите божественную импровизацию на любую заданную вами тему! – объявил он гостям.

– Помилуйте, – запротестовал Глинка, – вы аттестуете меня как ярмарочного чародея. Впрочем, если вам угодно... сударыня...

Он сел за рояль и, обернувшись к Анне Петровне, ожидал ее выбора.

– Назовите любую песню, – усердствовал Базен, – и вы увидите, на что способен этот русский менестрель!

Анна Петровна задумалась.

– Право, я ничего не могу придумать, – сказала она. – Разве вот эту?.. – И тотчас смутилась. – Нет, нет, не в моих правилах приказывать вдохновению...

– В таком случае, Михаил Иванович, – хозяин дома подошел к роялю, – почтим милую сердцу Анны Петровны Украину.

– Вы тоже знаете нашу Украину? – спросила Глинка Анна Петровна. – Там, в Лубнах, – объяснила она, – прошли мои детские годы.

– Мне приходилось бывать на Украине только проездом, – отвечал Глинка, – но песни тамошние успели меня приколдовать.

– Уважьте старика, – приступил к нему генерал Базен, – ведь и я влюблен в эти песни. – И он, забавно картавя, напел хриплым баском:

Наварила,, напекла
Не для Грицька, для Петра...

Глинка, склонясь к клавишам, сосредоточился. Импровизация началась. Анна Петровна не могла бы сказать, сколько времени прошло с тех пор, как рояль с такой покорностью подчинился миниатюрным рукам чародея...

Ее превосходительству Анне Петровне Керн привиделось вдруг, что бредет она по лугу с ромашками в руках и каждый оборванный лепесток сулит ей небывалое счастье. А кругом, словно в родных Лубнах, стоят и смотрят на нее вековые липы, и что-то невыразимо сладостное нашептывает быстрая речушка Сула...

Все это привиделось Анне Петровне так живо, что она подняла удивленные глаза на музыканта. Импровизация продолжалась. И перед Анной Петровной явью встали безоблачные годы, когда ей хотелось умереть от предчувствия любви, чистой, как небо, и вечной, как вселенная. В те годы даже гарнизонного офицера, случайно устремившего взор на юные прелести Аннет, она называла в своих дневниках не иначе, как иммортель⁹. Но не успела еще и помечтать всласть шестнадцатилетняя девчонка, как ее отдали в жены старому генералу Керн. Сразу отцвели тогда бессмертники-иммортели, а в ее дневнике к волшебному яду слов о верности, вечности и блаженстве прибавилась лишь одна строка: «Мой муж спит или курит без конца... Боже, сжался надо мной!..»

Анна Петровна сделала над собой усилие, чтобы вернуться мыслями в гостиную генерала Базена. За роялем все еще сидел маленький чародей, и песня снова уходила в бескрайные просторы, туда, где сияет чистое небо и сызнова цветут для девчонок бессмертники-иммортели.

Глинка кончил играть и встал. Анна Петровна сказала ему восторженно, будто в самом деле осталась лубенской мечтательницей:

– Слушая вас, становишься лучше и чище! Вы можете делать с людьми все, что хотите.

– На то он и композитор! – откликнулся Левушка Пушкин.

Анна Петровна подарила артиста молящим взглядом.

– О если бы моя просьба могла что-нибудь значить!..

Но Глинка отрицательно покачал головой.

– Простите меня великодушно, сейчас я ничего не могу произвести!

⁹ Цветок-бессмертник (франц.).

Он сел около Анны Петровны и, словно боясь разговора о музыке, перевел речь на Украиную.

Гости собирались уходить. Лев Сергеевич налил рюмки.

– За священный союз... – начал он и тотчас перебил себя: – Э, нет, к черту этот обанкротившийся союз! Пью за священное содружество поэзии, музыки и любви! – Подняв рюмку, он поклонился Анне Петровне, потом обратился к генералу Базену: – И за прекрасное вино, несущее в себе больше любви, музыки и поэзии, чем может вместить смертный!..

...Молодые люди проводили Анну Петровну до дома. Моросил дождь. Туман снова завладел городом. Там, где недавно сиял золотой день, теперь едва были видны огни масляных фонарей да над ними неподвижно висела траурная копоть.

– Вы всегда будете у меня желанным гостем, – сказала Глинке Анна Петровна и скрылась в мрачных воротах.

– Ты где обитаешь, Мимоза? – спросил, кутаясь в крылатку, Лев Сергеевич.

– Совсем неподалеку, на Загородном.

– Пожалуй, зайти к тебе? – задумался Пушкин.

– Буду душевно рад.

– Но имей в виду, – продолжал Левушка, строго глядя на пансионского однокашника, – объявляю заранее: ни чая, ни кофе, ниже святой воды не приемлю!

– Поступим согласно условию и обстоятельствам, – отвечал Глинка.

– Помни, однако, что поить меня накладно.

– А где же это видано, чтобы напоить Льва и не быть в накладе? Идем, пока не вымокли до костей.

По приходе к Глинке Лев Сергеевич внимательно исследовал марку красного вина, предложенного хозяином, и, одобрив, наполнил бокалы.

– Стало быть, Мимоза, в артисты метишь? – спросил он, прихлебывая.

– Молчат ныне музы, – отвечал Глинка.

– Неужто и вам, музыкантам, в вотчине Николая Павловича тесно? – удивился Лев Сергеевич. – Сочинял бы куплеты да продавал бы в театр.

Глинка не ответил.

– Шучу, шучу! – успокоил его Левушка. – А знатно ты сегодня разыгрался.

– И сам не знаю, как. Веришь, не помню, когда к роялю подходил.

– Значит, генеральша вдохновила?

– Кстати, кто она?

– Поэма, – объявил Левушка, – и совсем малолеткой досталась старому хрычу, состоящему в генеральском чине, однако, думать надо, не по ведомству Эрота. Обиженный Эрот не мог оставить без внимания такой несправедливости и послал в помощь старой кочерге лихого ротмистра.

– В том и состоит поэма?

– Нет, брат, к поэме я еще не приступил. Не могу объяснить тебе в точности всех подробностей сюжета. Видел Анну Петровну как-то в прежние годы в Петербурге Александр Сергеевич и влюбился, а потом, волею случая, она вновь явилась перед ним в Михайловском, когда плешивые запрятали Сашу в отчую обитель. И, надо полагать, он сызнова в нее влюбился, а от любви и родилась поэма. Так и быть, тебе прочту! – Лев Сергеевич подозрительно поглядел на Глинку. – Только не вздумай далее передавать. Предназначены эти стихи для «Северных цветов», возвращаемых бароном Дельвигом. А я, брат, ныне осторожен стал. Нельзя барону коммерцию портить...

Лев Сергеевич опорожнил бокал, откинул курчавую голову и проникновенно прочел:

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

- Каково? – спросил Левушка, окончив чтение.
– Это, брат, не только поэма, – сказал восхищенный Глинка, – выше поднимай, истинная музыка!
– Н-да!? – меланхолично откликнулся Лев Сергеевич. – Музыка, говоришь? А мне-то каково!
– А тебе что?
– Как что? По родству фамильных вкусов я тоже влюбился. – Левушка вдруг сконфузился. – То есть насчет какой-нибудь любовной родомантиды определительно сказать тебе не могу, однако волочусь напрапалую. – Левушка застеснялся еще более, прикрывая смущение смехом. – И меня черт на рифмы попутал, должно быть, тоже по фамильной склонности. Дай слово, что немедля забудешь!
– И ныне, и присно, и во веки веков, аминь!
– Ну, наполним бокалы... Слушай!
– «Анне Петровне Керн».

Как можно не сойти с ума,
Внимая вам, на вас любуюсь;
Венера древняя мила,
Чудесным поясом красуюсь,
Алкмена, Геркулеса мать,
С ней в ряд, конечно, может стать,
Но, чтоб молили и любили
Их так усердно, как и вас,
Вас прятать нужно им от нас:
У них вы лавку перебили.

- Глинка впервые слушал стихи Пушкина-младшего.
– Это в самом деле ты, Лев? Не врешь?
– Я. – Левушка вдруг помрачнел. – А Александр Сергеевич знай одно твердит: «Ты, Лев, литератор, не поэт». – В его глазах сверкнула озорная улыбка. – Знаем мы их, критиков-зоилов! Сам, поди, ревнует...
– Известия от него имеешь?
– Нет. После торжественного въезда с фельдъегерем в Москву во время коронации – ничего нового. С царем, правда, Александр Сергеевич беседовал, но в министры не вышел и на каторгу, спасибо, тоже не угодил. Стало быть, остается в приватном служении у муз и граций и ныне празднует свою встречу с москвитянами... Ну, vale!¹⁰
Лев Сергеевич встал из-за стола.
– Собираюсь, Мимоза, в юнкера. Коли возьмут, махну на Кавказ, и черт мне не брат. А там старых знакомцев не занимать стать. Скучно без родомантид существовать.
– Пустое, Лев, твои родомантиды!
– Сам знаю... – с грустью сказал Левушка. – Ну, смотри, про стихи забудь, а то вернусь с Кавказа – голову прочь!

¹⁰ Будь здрав! (лат.).

Левушка ушел. И опять потянулись дни в одиночестве и томлении, точь-в-точь как читал Лев Пушкин:

Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Глава третья

По первому снегу в Петербург приехал Иван Николаевич Глинка и, присмотревшись к сыну, только развел руками.

– Ничего в толк не возьму. Говоришь, здоров, а краше в гроб кладут. Не по службе ли обиды терпишь?

– Нимало, батюшка. Аттестуют с лучшей стороны.

– И куда тебя более не звали? От подозрений очищен?

– Думать должно.

Иван Николаевич еще раз внимательно оглядел сына.

– В таком случае, друг мой, будем искать надежного медика. В том суть!

– Не только в том, – отвечал Глинка. – Не могу я, батюшка, смириться с безвременьем нашим и применения себе не вижу.

– Никогда и я не считал, что избрана тобой завидная должность, – по-своему понял сына Иван Николаевич. – Куда из секретарей движение получишь?.. А я тебе тоже не помощник. Нужда в деньгах окончательно одолела. Пришлось даже на Новоспасское закладную выдать. И если вскорости капитала не раздобуду, тогда, друг мой... – Не окончив мысли, Иван Николаевич энергично отмахнулся. – А коли денег со всем тщанием поискать, как их в столице не найти? Хотя, признаюсь, туго ныне кошельки завязаны. В Петербурге, чаю, тоже на бунт оглядываются?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.